

INSPIRIA

ПОМУТНЕНИЕ



18+

**Линда Сауле
Ирина Костарева
Оля Птицева
Виктория Сальникова
Диана Викторовна Лукина
Саша Степанова
Марина Васильева
Екатерина Рубинская
Люба Макаревская
Микаэль Дессе
Помутнение
Серия «Loft. Автофикшн»**

indd предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69973846
ISBN 978-5-04-195593-9

Аннотация

В этом сборнике десять историй, исследующих прихотливые стороны нашего сознания. Через тонкие, глубоко психологические тексты авторы умело разбирают различные ментальные расстройства и травмы.

Как достичь исцеления – убежать от себя или посмотреть в лицо своим призракам? На этот вопрос через свое творчество пытаются ответить Марина Васильева, Микаэль Дессе, Ирина Костарева, Диана Лукина, Люба Макаревская, Оля Птицева, Екатерина Рубинская, Виктория Сальникова, Линда Сауле, Саша Степанова.

«Мне нравится лицо современной русской литературы: оно молодое, красивое, дерзкое, ничего не боящееся. Сборник "Помутнение" объединил такие разные рассказы: от переживаний художника и детективной истории до постмодернистского потока сознания», – Мария Головей, литературный редактор

Содержание

Виктория Сальникова	7
Линда Сауле	30
Оля Птицева	60
Люба Макаревская	78
Ты	79
Смерть	81
Ты	82
Ты	86
Смерть	88
Ты	92
Смерть	94
Ты	98
Смерть	99
Ты	103
Ты	105
Смерть	106
Ты	107
Смерть	109
Ирина Костарева	111
Конец ознакомительного фрагмента.	120

**Марина Васильева,
Микаэль Дессе, Ирина
Костарева, Диана Лукина,
Люба Макаревская, Оля
Птицева, Екатерина
Рубинская, Виктория
Сальникова, Линда
Сауле, Саша Степанова
Помутнение**

Художник обложки – Миша Никатин

© Сауле Л., текст, 2024

© Макаревская Л., текст, 2024

© Птицева О., текст, 2024

© Сальникова В., текст, 2024

© Степанова С., текст, 2024

© Дессе М., текст, 2024

© Рубинская Е., текст, 2024

© Лукина Д., текст, 2024

© Костарева И., текст, 2024

© Васильева М., текст, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

Виктория Сальникова

Отбель

Окна мастерской выходят на промзону. Я арендую ее на последнем этаже бывшего швейного цеха. Здесь такие высокие потолки, что комната не прогревается даже в жару. Стены впитали запах машинного масла и железа. От пыли свербит в носу. Жгу благовония, но сквозняк, гуляющий из помещения в помещение, уносит обжигающий носоглотку дым с собой.

Паркет, уложенный «елочкой», скрипит под моими пятьюдесятью килограммами. Сколько ни мой – с него не оттереть ни столетнюю грязь, ни масляную краску. Старые, почерневшие от копоти оконные рамы вздрагивают от порывов ветра.

Мне нравится это место.

Мы делим мастерскую с тремя художниками. В этом апреле они уехали в арт-резиденцию, и я теперь одна. Прихожу сюда рано утром и сажусь на табурет посреди комнаты. Вокруг меня пять мольбертов. Я нашла их на помойке или купила по дешевке через сайт объявлений. Высокие и низкие, расшатанные и почти новые, измазанные краской и посеревшие от влажности – брала любые.

На пяти мольбертах пять чистых холстов, стороны каждо-

го из них равны длине моей руки. Я смотрю на них – на каждый по очереди, но волшебства не случается. Белый – цвет начала, пустота, которую предлагается заполнить, приглашение к диалогу. В Азии белый – цвет смерти. Эта ассоциация мне ближе: я нахожусь в точке, которая никуда не ведет. Я увязла.

Два месяца назад мне предложили поучаствовать в выставке, посвященной памяти как явлению – воспоминаниям-артефактам, что объединяют людей. Заранее выплатили небольшой гонорар, который я быстро потратила. Мне дали полную свободу, а я до сих пор не придумала, что с ней делать.

Перевожу взгляд с холстов на уличные тапочки: на подошвы налипли тополиные почки и оставили желтые смолянистые пятна на мысках. На голые ноги – на улице жара, несмотря на конец апреля, на левой коленке ссадина: неудачно покаталась на роликах. Смотрю на ладони – чистые, пахнут мылом, сразу видно, что писать не начинала.

Снова холсты.

Что объединяет меня с друзьями? Общие воспоминания: чем дольше срок дружбы, тем их больше. Первое опьянение, первая любовь, первое разочарование. Шутки, понятные только своим. Воспоминания о событиях, которых никогда не случалось, они лишь созданы воображением. Я не знала бабушку Дениса, художника, который снимает со мной мастерскую, но помнила ее – благодаря рассказам, картинам

и фотографиям. В Геленджике тоже никогда не бывала, но Алиса оттуда родом, и я помню, как мы с ней ездили там на автобусе на море и, загадав желания, съедали счастливые билетки. Как яркие ложные воспоминания, думаю я, расклевываясь на табурете.

А если говорить о людях – обо всех людях, живущих в одной местности. Могут ли у них быть ложные воспоминания? Может, именно они и делают общность общностью?

– А дальше-то что? – спрашиваю у себя.

– А дальше я буду качаться на табурете, пока не перевернусь, – отвечаю.

Поднимается ветер. От его порывов трещат рамы. В мастерской мигом становится еще холоднее. Я надеваю джинсовку и подхожу к окну. Небо цвета асфальта, и это полотно рассекает надвое цепочка серо-бурых зданий на горизонте – как шов. О стекло ударяются первые дождевые капли.

Справа взрывается молния, и на секунду меня ослепляет. Вслед за ней по небу раскатывается гром – один удар и несколько волн тише, как афтершоки.

Грохот.

Взрыв.

Темнота.

Из меня вышибает воздух. Голова кружится. Я стараюсь вдохнуть, но горло сдавило. Бежать, надо бежать – хоть куда. Спрятаться от грохота и взрывов. Пронзает стрела – от макушки до пяток. Боль распространяется по телу, как и

гром, – один удар и несколько афтершоков.

Я прихожу в себя через три минуты. Вспотевшая, разгоряченная. Меня все еще трясет, но я могу заглотить воздух, вдохнуть, наполняя сначала живот, затем грудь, и медленно выдохнуть. Восстановить ритм, вернуться на табурет.

Смотрю на первый холст и закрашиваю его синей краской.

Я помню ту ночь: слякоть, осень, размытую в палисаднике землю. Стою в пижаме и резиновых сапогах на голую ногу. Топаю от скуки по скисшей грязи – незаметно, чтобы не отругали. Мама стоит рядом в махровом халате. Какого он цвета? Синего или розового.

Добавляю на холст пятно цвета фуксии и ярко-желтый, как цвет моих сапог, – всполох в синеватой темноте. Провожу светлую линию – подъезд оплели белой лентой, зацепили ее за лиственницу и кривую яблоню, что росли по обе стороны от подъездной дорожки. Рядом встали милиционеры, охраняли то ли дом, то ли людей – себя.

Очень холодно (это октябрь?), но ноги в сапогах вспотели. Не страшно. Дернула маму за руку: скоро? «Ждем, – отвечает. – Видишь, никто не приехал».

Держала за ухо плюшевого зайца. Взяла его с собой, потому что бежать из квартиры с пустыми карманами нельзя, нужно взять вещь в дорогу, чтобы вернуться. Где я об этом услышала? Наверное, в мультике или в спектакле по радио.

Папа на работе, он не знал, что нас выгнали из дома. Мама стояла рядом, обсуждала что-то с соседкой. Я слышала об-

рывками: «Вечер воскресенья... люди дома... много жертв». Посмотрела на свои пижамные штаны – белые с розовыми кружками, ниже колен капли грязи. Я топала по скисшей земле, и она разлеталась в разные стороны.

«Мама, – дернула ее за рукав халата. – Ну, скоро?»

«Не канючь, саперы едут».

«А кто такие саперы?» – Мой вопрос остался без ответа.

Люди рядом говорили шепотом, не останавливались, будто взрыв прогремит, если они замолчат. Не жестикулировали, двигались только губы. И глаза – туда-сюда, искали саперов. Но саперы не ехали.

Мы были с мамой вдвоем: пили чай на крошечной кухне. Я сидела на кушетке, спиной к тумбе с маленьким телевизором с выпуклым экраном. Мама – напротив, смотрела новости через мое плечо. Звук заполнял пространство.

На холсте появляются окна, свет потух – только бело-сине-сее сияние экрана телевизора. Оно словно прилипает к лицам людей у подъезда, очерчивает кончики их носов, скулы, лбы, костяшки сжатых на воротниках кофт и рубашек пальцев.

Плыву дальше – к подъезду, в подъезд. Черный дипломат с серебряным замком. Его нашла соседка с четвертого этажа. Поднималась в квартиру, он лежал на площадке между двумя лестничными маршами. Стены зеленые, грязные – в плевках, жирных черных точках от затушенных бычков, со жвачкой, следами ботинок. Соседка на цыпочках поднялась

к нам на пятый и позвонила в дверь.

«Кто это в такое время?» – удивилась мама. Она вытерла мокрые руки (наливала воду в чайник и расплескала ее) о халат и пошла открывать. Пауза – смотрит в дверной глазок, затем тройной щелчок – открыла.

Голос мамы смешался с криками из рекламного ролика.

«Все самое лучшее, что может дать природа...»

«На площадке вон лежит, видишь?»

«Все ее богатство и силу...»

«Там внутри что-то тикает!»

«Вы найдете в батончике Mars!»

«Нет, не показалось!»

Мама крикнула мне, что отойдет на секунду. Скрипнули дверные петли. Я побежала босиком в коридор, посмотрела через узкую щель на маму и соседку, прислушалась. Они спустились к дипломату, сначала постояли на почтительном расстоянии, мама скрестила руки на груди, молчала. После паузы подошла ближе, на шагок.

«Может, не надо?» – Соседка прикоснулась к ее локтю, но мама ее не послушала. Потянулась к дипломату, та крикнула и потянула ее за руку назад. Сама наклонилась, будто захотела упасть вперед, прикрыть дипломат грудью, вдавить его в бетонную плиту, сцепляющую этажи.

Мама вырвала руку и села на корточки. Край халата коснулся пола, пыльного, мокрого и обтопанного. Она склонила голову – правым ухом к дипломату.

«Да, тикает, – сказала соседке, – и что теперь делать?»

Мама вернулась домой, отправила меня на кухню и позвонила по телефону в комнате. Телевизор кричал, звук проникал в уши, горло, нос – чувствовала себя простуженной. Прислушалась к разговору мамы, но ничего не слышала.

На холсте появляются десятки окон, в каждом по телевизору, свет от экрана брызжет во все стороны, подсвечивает небо, притворяется северным сиянием – отбелю. Одно из преданий гласит, что зелено-розовые переливы в полярном небе – мост, по которому на землю спускаются боги. Новому времени – новые божества, сеанс связи с сакральным запускается кнопкой пульта.

Память выбросила меня на улицу – в холод, слякоть, на раскисшую землю. Мы все еще ждали саперов, прошла вечность, а может, всего десять минут. Как же скучно...

Свист сирен тихий, но нас он оглушил. Машина с саперами появилась из-за угла: по черным деревьям, черным домам, черному небу прыгали сине-красные блики. Смотрела на них и думала о гирляндах: всего три месяца потерпеть, а там елка, подарки, Новый год.

«Приехали», – шепотом выдохнула толпа. У всех разом из легких вышел воздух – с длинным пшш-шшш. Назло им глубоко вдохнула, ноздрями и ртом одновременно, но демарша не заметила даже мама. Она инстинктивно схватила меня за руку, словно это не саперы приехали, а милиция – за мной.

«Мам, ну скоро?» – Я не спрашивала, требовала.

«Пш-ш-ш», – ответила мама.

Саперы вышли из машины. Милиционеры, охраняющие ленту, пропустили их в подъезд. Те нагнулись, пролезли под этой белой нитью, словно перешли границу между мирами, – кланялись темноте дома, что выплеснулась на улицу. Саперы соскользнули внутрь.

Я никогда не видела, как работают саперы. По-прежнему не знаю, кто это такие и почему мы их ждем. Догадалась, что приехали за чемоданом, но чем он всех нас заинтересовал? Всматриваюсь в окна, надеясь подглядеть через стекло. Ничего не видно. Встала на цыпочки, наклонила голову вправо и влево – слишком темно, далеко, не рассмотреть. И тут заметила, что в окнах на лестничной площадке мелькнули головы и плечи – первый этаж, второй, третий, стоп.

Четвертый этаж – площадка. Труба слева, справа окно и подоконник. Дипломат лежал возле трубы, вплотную к стене. Саперы – напротив, прислушивались.

Были ли с ними собаки? Или их берут только на наркотики? Добавляю на холст синей и красной краски, два силуэта в желтых квадратах окон, тень собаки – на всякий случай. Тень – знак присутствия и символ отсутствия, ничего не осталось, лишь силуэт на земле, столь условный, что, может, это и не собака вовсе.

Я снова там: толпа стояла, толпа ждала. Представляю взрыв, уже сегодняшняя я, та – слава ему – еще пока не съела яблока. Вижу, как вылетают стекла из окон, подъезд ухает

и падает. Не сразу весь, а как песок из ладошки, но в этих часах бетонная крошка.

Прошло время – час или сутки. Головы саперов замелькали в обратном направлении. Как две рыбины, они погрузились на дно, к нам. Вышли из подъезда, казались ватными, размякшими. В руках у одного дипломат. Синхронно махнули милиционеру, сели в машину с мигалками и уехали. Я попрощалась с бликами взглядом. Милиционер снял ленту, скрутил ее аккуратно, как портновский сантиметр – улиточкой, положил в карман. Махнули толпе, толпа ухнула и зашла в подъезд.

Мама взяла меня за руку, встала в конец вереницы – первого, второго, пятого, седьмого поглотил подъезд. Подползли к милиционеру, мама вскинула голову и молча посмотрела ему в глаза.

«Да часы обычные лежали, вот и тикали», – ответил он. Мама кивнула. У меня замерзли ноги.

Поднялись на пятый этаж, я посмотрела туда, где лежал дипломат. Так пусто, что все происходящее показалось выдумкой – сном в ночь, когда поднялась температура. Повращала глазами в поисках следа и, наконец, споткнулась о бычок. Это сапера, подумала я, и эта мысль успокоила: дипломат все-таки был, вот его отпечаток во времени.

Сразу из коридора, как только я стянула с голых ног сапоги, мама повела меня в детскую. «Утром в садик, – напомнила она. – Быстро спать!»

Ложусь на диван, простынь сбилась. Я выгнулась дугой, поправила ее под спиной. Мама взбила подушку, положила на меня тяжелое ватное одеяло, а сверху колючий плед в красную клетку.

«Мы живем на последнем этаже, – сказала я ей. – Если дом взорвут, то нас только чуть-чуть придавит, мы сможем выбраться, не переживай».

Я наконец узнала, кто такие саперы.

Мама чмокнула меня в лоб, пожелала спокойной ночи и вышла из комнаты. Щелкнул выключатель. Свет погас.

Гаснет он и в окне на холсте – прямоугольник залит краской, не черной, темно-синей, такой густой, что на ней появляется блик от окна мастерской.

Добавляю деталей, сглаживаю контрасты. Готово. Ставлю холст на пол у стены напротив, чтобы просох. Больше он меня не интересует.

Сажусь возле второго мольберта. Выглядываю за него в окно, дождь все идет: маслянистые капли падают на стекло и медленно скатываются, оставляя после себя серые борозды. Сколько пыли, думаю я, и окна не помыть: они приколочены к рамам длинными гвоздями.

В некоторые самодельные (не произноси это слово, не кликай беду) добавляют гвозди, битое стекло и металлические осколки, чтобы усилить, как пишут в газетах, «поражающий эффект». Или не кладут, но поражающий эффект все равно настигает из прошлого.

Беру самую толстую кисть из стакана – плоская «щетина» с номером 24 на ручке – и провожу линию от края до края.

Несколько лет спустя мы жили все там же – на пятом этаже, под самой крышей. У меня родился брат, его кровать подставили к родительской. Я ревновала, по ночам мне снилось, как ухают здания, когда рассыпаются, тогда я вскакивала и диван начинал казаться чужим. В слезах бежала к родителям. Длинный коридор без окон – как полоса препятствий, поворот в еще более темную прихожую (до сих пор снится, что за входной дверью в ночи притаились чудовища), зигзагом в спальню родителей, большим полукругом мимо кровати брата – и вот мама спит, можно залезть к ней под одеяло и притаиться.

За окном только начался сентябрь, теплый и ветренный, мне девять, завтра в школу. Я сидела на ковре перед телевизором, по нему крутили рекламу, ток-шоу, снова рекламу. «Иди есть!» – крикнула мама из кухни. Ужинали мы в восемь, когда папа приходил с работы.

Кухня за годы не расширилась, наоборот, стала меньше – я-то выросла. Возле стола стоял детский стульчик брата, но тот уже спал. Папа сидел за столом, затылком к тумбе с телевизором. Я села напротив, втиснулась между подоконником и раковиной. Мама стояла у плиты, я задела ее локтем, она меня бедром.

Телевизор работал на полную громкость.

Выключался ли он когда-нибудь? Я кидаю на холст фигу-

ры – сцены из популярной рекламы, образы, позаимствованные сразу из всех роликов, которые смогла запомнить. Жаль, нельзя добавить звука.

Мы ужинали супом – куриной лапшой. Когда мама ее готовила, то всегда обжаривала вермишель на сковородке. Мне нравилось, когда та была почти черная, я вылавливала ее в тарелке и съедала первой.

По телевизору начались новости. Мама стояла за моей спиной, вытирала руки полотенцем – и замерла.

«Ты слышал?» – спросила она у папы. «А?» – ответил он, повернул голову к телевизору (шея хрустнула), стукнулся головой о соковыжималку и чуть не уронил ее на пол.

«Ты слышал? – повторила мама. – Дом взорвали». «Зачем?» – ответил папа. «Ты дурак?» – сказала мама и кинула в него полотенце. Оно пролетело через мое плечо, я наблюдала за ним как за космической ракетой, пущенной с «Байконура». Отодвинула от себя тарелку с супом – на дне остались две столовые ложки непрожаренной вермишели и два кругляшка морковки.

«Мам, сделаешь чай?» – попросила, но она не услышала. Молча пошла в прихожую, где на приставном столике возле книжных шкафов стоял телефон, и позвонила бабушке.

Бордовый телефон с черными кнопками, с закрученным проводом – рисую его. Меняю тем самым реальность: в те годы у нас стоял радиотелефон, но трубку всегда забывали поставить на подзарядку, она садилась и заваливалась куда-ни-

будь между диванными подушками.

Папа смотрел новости. Не заходила в комнату, прижималась к стеночке возле двери, чтобы слышать, но не быть обнаруженной. Мама сказала тихо: «Сто человек, какой кошмар». «Это на юго-востоке!» – крикнул из кухни папа, будто он в телефонном разговоре третий.

Мне надоело, я зашла в комнату, чтобы привлечь внимание мамы. Она обернулась, но посмотрела сквозь меня. Я стала стеклом, через которое она увидела подъезды, упавшие с уханьем.

«Мама, включи мультики!» – потребовала я. Она убрала трубку ото рта, прикрыла ее ладонью и прошипела: «Мультиков больше не будет».

Школа, новости, школа, новости, толпа говорила шепотом, я все же смотрела мультики. Вторая часть сентября была холодной. Зарядили дожди, они прибили бурые листья к асфальту. Побежали с мамой в школу под зонтиком, обратно домой я вернулась одна и в капюшоне, натянутом до носа. Но воды с неба лилось так много, что за пятнадцать минут на улице штаны промокли до трусов. Вот бы заболеть.

Дверь открыл дедушка, они с бабушкой сидели с нами по-сменно. Я стянула с плеча ранец и бросила его в угол в коридоре. Скинула сапоги, разбрызгав грязную воду. Пошла на кухню, дедушка нажарил котлеты с картошкой. Фарш сладковат, картошка с золотой корочкой. Брат, врезаясь в углы, катался по квартире в ходунках.

После обеда делала уроки, смотрела телевизор, ждала родителей. Мама пришла в шесть, отпустила домой бабушку и пошла готовить ужин. Сегодня папа тоже пришел рано. О чем-то говорили, что-то делали. Память выбросила меня в гостиную: папа читал книгу на диване, брат сидел в манеже, мама мыла посуду на кухне. За низким столиком я собирала конструктор из крупных деталей. Напротив телевизор – музыкальный канал.

«Представляешь!» – крикнула мама и влетела в комнату. Она схватила пульт и переключила на новости. «Что случилось?» – Папа поднял взгляд сначала на маму, затем на экран. Я вместе с ним. Случайно уронила со стола дом, который собрала из конструктора, он разлетелся на детали – их показали по телевизору.

«Мама, что это?» – «Тс-с-с».

Родители не говорили. Мама поднесла ладони ко рту, папа оперся локтями о колени. Я начала плакать, они не слышали.

«Надо уезжать», – сказала мама. «В Подмосковье», – подтвердил папа. «А как же мои друзья?» – всхлипнула я.

«Найдешь новых».

Рассыпаю на полотне кубики конструктора, прикручиваю к ним окна, колонны, на которых держатся подъездные козырьки, красные ленты, милицейские сирены. Отношу холст к стене. Третий холст – пишу на нем красными буквами «Конец войны», жду, когда подсохнет, чтобы покрыть надпись тонким – полупрозрачным – слоем краски.

Мы жили в Подмоскowie. Новых друзей я так и не нашла. У брата пока еще короткие ноги, но спал он в такой же длинной кровати, как и я, – напротив.

За окном все та же осень, утром еще светло, хотя свет приглушен. Мама зашла в комнату: «Просыпайтесь». – «Нет, дай еще поспать». – «Никаких спать!» Она включила телевизор, канал, по которому по утрам показывали мультики. Но сегодня вместо них новости. Мама замерла с пультом, брат захныкал, а я накрылась с головой одеялом.

И снова на холсте мерцание экрана, темные силуэты. Телевизор стал проводником – устройством, множащим ужас, его изобрел безумный шляпник.

Следующий кадр – кухня. В тот месяц я ела только быстрорастворимую овсянку с растертыми в порошок ягодами. Врач говорил, что у меня развилось расстройство пищевого поведения. Отрицала, ведь у меня все хорошо, а каша просто невкусная.

Мама положила в глубокую белую миску три ложки каши, она чуть заветрилась. Брат ковырял яичницу и запивал сладким чаем. Мама включила телевизор и здесь – папа его повесил у самого потолка над дверью. Мы его всегда смотрели задрав головы, до боли в шее. Вслед за ней подняла взгляд к экрану, а там башни ухнули.

Застывшее в янтаре мгновение.

Смотрела на кухню и на себя, паря у потолка.

Застывшая в мгновении я.

Мир вокруг начал жить в ускоренном ритме: брат доел яичницу, мама схватила его за руку и повела умываться. Папа выпил чай. Брат оделся. Мама оделась. Брат взял рюкзачок, идет в коридор.

А я все так же сидела с ложкой, полной каши, – в пижаме, с босыми ногами, спутавшимися после сна волосами на затылке. Уханье повторялось

повторялось

повторялось

повторялось

у меня в ушах, отдавало дрожью, воздуха все меньше, он выходил из легких, как через крошечную дырочку в воздушном шаре. Голова закружилась, и меня вырвало на пол желчью и кашей. Мама прибежала из коридора, попыталась напоить водой, что-то говорила, я видела, как у нее открывался и закрывался рот, но не слышала ни звука. Она на берегу, а я пошла ко дну.

Беру передышку, шлепаю ладонями по карманам джинсов в поисках пачки сигарет. Вспоминаю, что бросила курить два года назад, но привычка осталась. Отхожу от холста, руки запачканы масляной краской, беру тряпку – коричневую, всю в цветных пятнах – и обтираю ею пальцы. Иной день писать – как уголь добывать, физически выматывает.

Достаю из кармана мятную жвачку и кладу в рот сразу четыре подушечки, имитатор сигареты – очередная попытка обмануть мозг. Я встаю у окна: вечереет, дождь не заканчи-

вается. Он прибывает к земле пыль, в ямах на асфальте под окнами образуются черные лужи. Кажется, что в этом лабиринте из промышленных зданий я одна. Ни белого света в окнах, ни людей, бегущих к метро, даже местных собак, с промокшей шерстью и несчастными мордами, и то не видно.

Можно идти домой, я сделала больше, чем обычно требую от себя. Включаю в мастерской свет: вспыхивают длинные белые лампы у потолка, в плафонах виднеются черные точки – мотыльки, превратившиеся в мумии.

Сажусь к четвертому холсту. Осталось всего ничего – и можно забыть о проекте навсегда, поехать к морю, снять домик в частном секторе у бабульки, сидеть на участке под навесом, оплетенным диким виноградом, и смотреть на узор из солнечных пятен под голыми ступнями. Дышать морем, водорослями, солнцем и трупами медуз. Забыть и не пытаться вспомнить. Еще одно ложное воспоминание, но о будущем.

Учусь в институте: первый курс – прилежно, второй курс – более-менее, третий курс – «нет, мам, сегодня лекций нет». Знакомые художники попросили попозировать в мастерской, согласилась. Сидеть несколько часов без движения тяжело, но в двадцать лет художники кажутся небожителями. Это потом, лет через десять, магия рассеется: одни сопьются, другие обзаведутся зародышем пуза, их волосы поредеют, но с годами они не смиряются. Есть третьи: они никогда не съедут от родителей и будут кланяться деньгами на проезд и на булочку в столовой, четвертых подберут женщи-

ны, которым требуется крест на плечах, Питеры Пены будут вечно кормить их словами о скорой славе. Успеха достигнут единицы.

Но тогда мне было двадцать, и я ехала на «Юго-Западную» позировать в простыне – изображать из себя гречанку, родившуюся из головы Зевса. Я опять прогуливаю, стыдно ровно настолько, чтобы выступил румянец, но сессия скоро – живем.

Бегу по перрону, из-за мыслей, что меня все-таки могут выгнать из института, переставляю ноги еще быстрее. Но я наконец нашла новых друзей, и хочется вдыхать каждый день, наполняя им легкие до хруста в ребрах.

«Осторожно, двери закрываются» – успеваю запрыгнуть в вагон, край куртки защемило дверьми, я дергаю, они открываются, дергаю еще – на свободе. Вагон набит людьми. Весна, холод, толстые куртки. Толпа молчит, берет меня в кольцо и сдавливают те самые легкие, в которых плещутся сто восемьдесят два с половиной дня моего двадцатилетия.

Рука мужчины рядом на поручне, его подмышка воняет потом через шесть слоев синтепона, я отворачиваюсь – в сторону женщины, одетой в сладкие духи. Еле сдерживаю рвотные позывы, хорошо, что не успела позавтракать.

Мы едем, тела трясутся в такт движению. Раз станция, два станция, три. Высвободив руку, я воткнула в уши наушники и включила плеер. Грустные песни, затем мрачные, потом громкие, снова грустные. И ведь не переключить: на четвер-

той станции в вагон утрамбовалась еще одна порция килек и я не могу пошевелиться. Они держат меня плечами: достают ли ноги до пола или я парю в невесомости?

В кармане завибрировал телефон, но руки уплыли за спину, его не достать. Воздуха все меньше, не только в легких, но и в вагоне. Человек на шестьдесят процентов состоит из аш два о, я погружаюсь на дно, задыхаюсь, как в детстве, когда тонула и видела лучи солнца сквозь мутную толщу воды. Сейчас передо мной желтая лампочка, коричневый свет и серые лица.

Звонит телефон. Начинаю злиться: кто такой настырный? Надеюсь, это не староста, любимица деканата, с выговором и угрозами. Вновь чувствую, как к лицу хлынула кровь и румянцем загорелись щеки.

«Осторожно, двери закрываются, следующая станция “Юго-Западная”». Встаю боком, плыву против течения, извиняюсь за отдавленные ноги и удары локтями в солнечное сплетение. Не замечаю, как задерживаю дыхание. Люди недовольно вздыхают, движение одного вызывает волну, и она идет до следующих дверей, где рассеивается.

Телефон так и вибрирует в кармане. Двери открываются, пассажиры выпадают на берег, я вместе с ними. Отпускаю наконец дыхание и сажусь на лавку. Достая из кармана телефон и смотрю на дисплей. Мама. В метро так шумно – люди, поезда, не перезваниваю. Потом, выйду только на улицу. Но набрать ее номер не успела, она опередила.

«Мам, ну вот что ты мне названиваешь? Видишь же, что не беру, значит, занята!» – кричу я в трубку, не дожидаясь ее первой реплики. Замираю, когда слышу всхлипы. «Слава богу!» – говорит она. В метро взрыв, на станции, которую мой поезд преодолел десять минут назад.

«Мама, забери меня», – говорю ей и кладу трубку.

Дышу быстро, как набегавшаяся за лисой охотничья собака, пытаюсь застегнуть куртку, но руки дрожат и я не могу попасть пуговицами в прорези. Темнота, воздух в этом мире закончился, небо с землей меняются местами как крылья мельницы, все кружится – и я кружусь, по венам течет лава, а сердце окаменело под взглядом Медузы горгоны.

Идет дождь, рвота на кухонном кафеле, подъезд рассыпался, внутри меня ухает.

Пришла в себя рядом с пустым холстом. В одной руке держала кисть, в другой – палитру, вонь растворителя в масленке отрезвила, как нашатырный спирт. Задала себе – рассказчику и слушателю, производящему и трактующему в одном лице, – все тот же вопрос: что было дальше? В нетерпении вернулась к холсту, все еще белому, знающему все о рождении и смерти.

Что было дальше?

Заново учусь ездить в метро. Три года прочь. Уже могу спуститься на эскалаторе, не задерживая дыхания и без мокрых ладоней. Когда подъезжает вагон, чувствую неуверенность – аккуратно перекидываю ногу через порог, замираю.

Охотник или дичь? Иногда следую ложному предчувствию и отпрыгиваю от дверей, задевая других пассажиров. Сумасшедшая!

Хожу к психиатру: он учит меня правильно дышать и вести дневник мыслей. «Когнитивные искажения, – говорит он. – Запиши навязчивую мысль, логически ее разбери». И я ношу с собой маленький блокнотик на колечках и карандаш. Когда свет перед глазами мигает, падаю на скамейку, грузно, на выдохе, без сил, достаю блокнот трясущимися руками и пишу. Какой шанс в процентном соотношении, что вагон взорвется именно в этот день, в этот час, в эту минуту. Цифры успокаивают.

Вывела на холсте 0,0000000... последний ноль уперся в край, добавила арки и своды, собаку пограничника с исчезнувшим носом и охалку колосьев.

И вот я снова захожу в вагон. Сканирую пассажиров, как робот из будущего: что у них в карманах и рюкзаках? Чисто, заходим. Не толпа и не час пик, я могу даже присесть. Обычно хожу на работу пешком, но сегодня холодно и гололед – ноги переломать. Машины заносит, люди сопротивляются ветру – все мы немножко полярники. Я еду в метро, дышу глубоко и ровно, ладони сухие и теплые, челюсть расслаблена. Могу, у меня получилось, научилась.

Достаю телефон, чтобы набрать сообщение и разделить с мамой радость. Включаю плеер, хотя ехать всего две станции. Улыбаюсь, поднимаю взгляд и вижу его. Человека, на

которого указывает предчувствие. Сжимаю зубы и вжимаюсь в сиденье.

«Нет-нет-нет, – говорю себе, – интуиция ложна, мысль-логика-проценты-цифры».

Но не успеваю. Подскакиваю, в три шага оказываюсь в другом конце вагона, вжимаюсь в дверь.

Дышать животом, считать вдохи от одного до десяти: раз, два... десять, сконцентрироваться на воздухе, проходящем через ноздри. Не говори, не говори, не говори состоят из гвоздей и осколков. Надо дышать. Жар такой, что плавятся железные пуговицы. Дышать.

Потею, холодно, жарко, мокро, холодно, жарко, мокро. Чернота подъезда сгущается, саперы не едут. Остановите поезд, остановите, я хочу выйти

хочу выйти

хочу выйти

хочу выйти

он едет медленно, минуты длинные, остановите, мы все погибнем, воздуха, дайте мне воздуха, гвозди, осколки, жар, пуговицы, остановите поезд, остановите, остановите, остановите.

Дышать.

Вдавливаю ступни в пол. Щипаю себя за руку до тех пор, пока пелена перед глазами не спадет. Спина все еще дрожит. Двери открываются, две минуты как десятилетие, выпрыгиваю на перрон. Из меня выкачали весь кислород, это вакуум.

Дышу-дышу-дышу. Воздух застревает в горле.

В тот день я заснула только с двумя таблетками снотворного. Обычно пью половинку, без нее просыпаюсь через раз. Когда тьма в подъезде сгущается, резко сажусь на кровати, как неваляшка. У моей был отгрызен помпон, мама говорила, что я проверяла на нем прорезавшиеся зубы. Вот и я такая же – с дефектом, на мне проверили остроту зубов.

Сердце стучит, печет затылок. Снова щипаю себя – это лучше, чем дышать, но приходится носить кофты с длинным рукавом, чтобы скрыть синяки. Перенаправляю внимание и считаю дыхание собаки, что спит у кровати. Внутри ухает, но через минуту после взрыва всегда наступает безмолвие и я снова засыпаю.

Как и собака сапера-пограничника у ножки кровати на моем холсте. Я отнесла его к стене, четвертым. Остался еще один. Села за мольберт и час смотрела перед собой.

Был ли пятый взрыв?

Он не случился, но случается каждый день. Внутри меня все еще ухает. Волна накатывает из завтра, обдает кожу лица жаром и опалает брови. Саперы больше никогда не приедут.

Этот холст остался пустым.

Я взяла сумку, закрыла на ключ мастерскую и пошла домой. Воздух после дождя свеж и чист. Делаю вдох и говорю: «Раз».

Линда Сауле

Жена самоубийцы

Меня зовут Анри Рошаль, и эта история не обо мне. Она о женщине, известной всей Франции как «жена самоубийцы» – настоящее имя ее Лора Габен. Но раз уж я взялся изложить ее историю, хочу все же рассказать немного о себе, ведь я волею обстоятельств оказался связан с этой женщиной и сыграл определенную роль в ее дальнейшей судьбе.

Я работаю операционистом в южном отделении Банка Франции уже больше двадцати пяти лет. Это монотонная работа, но она мне подходит: я люблю порядок и цифры. Не нужно быть гением, чтобы следить за выплатами по кредитам и обналичиванием банковских билетов. К тому же занятие это стабильно, а я действительно превозношу однообразие и нахожу в нем истинную ценность человеческого существования.

Из-за жажды однообразия я так и не женился, не завел детей, и дама моего сердца, а скорее тела – если уж говорить начистоту, – все так же заходит ко мне по пятницам и всегда уходит в субботу после совместного завтрака. Она давно потеряла надежду изменить положение вещей и, кажется, тоже стала понимать неприметную радость дней и ночей, проходящих по одному и тому же сценарию. Эту мысль я, веро-

ятно, внушил ей собственным примером, и она прижилась в несмелой душе мон ами, как застрявшая в горле рыбная косточка, постепенно сглаживаясь, обрастает слизью до той поры, пока и вовсе перестанешь ее замечать.

Дни катились один за другим, неразличимые, до прелести похожие, и я порой забывал, который год мне идет. Одни и те же друзья, загородные поездки в Нёйи или Мелён раз или два в месяц: мир мой сильно напоминал механизм с шестеренками, в котором одна идеально встраивалась в другую, а та приводила в движение следующую – и так, скованные цепочкой действий, проходили годы моей жизни. И я уверен, они шли бы и дальше, ничем не печалая и, в общем-то, не радуя, пока в конце концов не завершились бы логичным итогом, который ждет всех и каждого. Но вот однажды в наш банк пришло письмо.

В четверг после обеда месье Луазон вызвал меня в свой кабинет. Его лысина блестела в электрическом свете потолочной лампы и отливала синевой, а подтяжки с трудом поддерживали огромный живот. С нетерпением посматривая на часы – из чего я мог заключить, что мой начальник еще не обедал, – он объявил, что скоро в суде присяжных департамента Сены начинается рассмотрение дела Габен. Новость, которую он хотел донести, заключалась в том, что кандидатом на место присяжного заседателя был выбран не кто иной, как ваш покорный слуга.

– Вы сказали, дело Габен? – переспросил я.

– Да, именно это я и сказал. Через три недели будет слушаться громкое дело, о котором вы, я уверен, читали в газетах. Сейчас формируется комитет присяжных заседателей, и судья намекает, чтобы одним из них был человек, связанный с банковской сферой. Дело в том, что погибший оставил приличное наследство. Полагаю, судье важен профессиональный взгляд на, скажем так, честность подсудимой, чистоту ее намерений. Сегодня пришло письмо, в нем сказано, что ваша кандидатура утверждена комитетом. Я указал имена всех банковских служащих, но выбрали они именно вас.

– Но я не желаю! Пусть идут Шарль или Дидье!

– Шарлю исполнилось шестьдесят, – месье Луазон пожал плечами, – а это один из исключаяющих пунктов, – ткнул он пальцем в перечень и продолжил: – У Дидье пособие по инвалидности, – он вел пальцем по списку, – а Душан не француз по происхождению. Жюли зарегистрирована за пределами Парижа, Деми имеет сан священника. Все эти ограничения указаны здесь. – Он потряс бумагой. – И, как вы понимаете, я связан ими по рукам и ногам. Так что возьмите бланк заявления, – протянул он мне лист, – прошу заполнить до обеда завтрашнего дня и отправить по указанному адресу. И еще: держите это, пожалуйста, в секрете.

– Но погодите, я ведь еще не дал своего согласия, – возразил я.

– Месье Рошаль, вам не выдумать существенную отговорку – ваше имя в списке от департаментов. Впрочем, чего вы

упрямитесь! Если кто и способен непредвзято взглянуть на ситуацию, так это вы!

– Вы только что назвали меня философом? – покачал головой я. – Не горю я желанием выносить какое бы то ни было суждение о других!

Тем не менее я взял из рук начальника бланк и в задумчивости взглянул на него. Было еще не поздно настоять на своем, отказаться от неожиданного предложения, неизвестно как способного повлиять на мою дальнейшую жизнь, но я медлил. Я чувствовал, что достаиваюсь чести присутствовать на исключительном процессе. Возможность, за которую любой парижанин отдал бы правую руку, а кое-кто и обе. И здесь я сделаю отступление, чтобы поведать о деле, взволновавшем всю страну и заставившем замешкаться даже меня, человека, не терпевшего вмешательства в размеренное течение бытия.

Ее звали Лора Габен. Жестокая убийца или жертва обстоятельств. Никто не мог сказать наверняка до оглашения приговора, но все сходились во мнении, что так или иначе она виновна в смерти мужа. Парижане не могли дождаться дня, когда она окажется за решеткой тюрьмы Санте. А все потому, что в январе текущего 1954 года в ее квартире посреди ночи был обнаружен труп ее мужа – Седрика Габена. Лора сама вызвала медицинскую службу, но им оставалось лишь констатировать смерть. Жертву обнаружили на кухне: мужчина лежал на боку, лицом к духовому шкафу. Смерть на-

ступила в результате отравления угарным газом.

Эту трагедию можно было бы списать на самоубийство, если бы не сопровождавшие ее подозрительные факты. Лору Габен видели в ночь происшествия – она бродила вокруг дома в течение двух часов, одетая легко, совсем не по январской погоде. Соседи-собачники и молодая пара, вернувшаяся с вечеринки, были единогласны в показаниях: Лора находилась в смятении, вела себя подозрительно и с трудом смогла собраться, чтобы ответить на обычное приветствие.

Казалось странным, что именно в те часы, когда муж подозреваемой совершил самоубийство, Лоры не было дома. Этот факт, должный сыграть в ее защиту, напротив, все и портил, потому что главным козырем обвинения была «убийственная» улика – полотенце, которым была подоткнута кухонная дверь. И находилось оно снаружи – со стороны коридора, который соединял кухню с прихожей и другими комнатами квартиры, где проживали Лора и ее муж Седрик. Все эти детали, растиражированные газетами, быстро обросли неприятными домыслами.

Далеко не смягчающим обстоятельством служило наследство мужчины: оказалось, что помимо квартиры в Париже ему принадлежала часть прибыльного семейного поместья на юго-востоке Франции. Там выращивали виноград и небольшими партиями производили вино, оттого стоимость и вина, и поместья, разумеется, только возрастала. Итак, Лора, очень «удачно» отправившись на прогулку, в одноча-

сье сделалась богатой вдовой. Система правосудия не желала признавать факт самоубийства, ведь Седрик к тому же был меценатом. Его пожертвования кормили не один детский приют, и убийство (а именно в этом подозревалась Лора) такого человека всколыхнуло в добропорядочных гражданах неистовую волну осуждения.

Попытки обвиняемой оправдаться не принесли ожидаемых плодов. Она дала два или три интервью, где пыталась объяснить, что не виновна и что Седрик решил уйти из жизни по собственной воле. Бледная, усталая женщина клялась в своей непричастности, и поначалу люди даже поверили ей, забыв про злосчастное полотенце. Но Лора допустила ошибку. Она с горечью обронила неосторожную фразу: призналась, что Седрик никогда не любил ее. И это высказывание, возможно, не имевшее под собой столь уж значительного основания, в мгновение ока воспыало адским пламенем мести женщины, которую разлюбили. Союз двух влюбленных, закончившийся громкой трагедией, окончательно убедил досужих сплетников, что на этом свете нельзя верить никому, кроме самого себя.

Я не мог сложить своего отношения к этой истории и вполне допускал развитие событий, описанное в газетах. Уставшая от измен или обид супруга опоила мужа и включила газ, чтобы расправиться с ним. Дабы не пострадать самой, она вышла на улицу, но дьявол кроется в мелочах – полотенце, подложенное, а затем найденное с внешней стороны

двери. Не будь его, следствие едва ли нашло бы достаточное количество улик, чтобы предъявить обвинение в убийстве. И посему предстояло состояться суду, повестку на который я и держал сейчас в руках. Но смогу ли я стать судьей, пусть на некоторое время, и вершить судьбу человека, с которым никогда не встречался, о котором лишь узнал из газет множество разрозненных и противоречивых фактов?

Я размышлял об этом всю дорогу до дома. И пока готовил ужин и поглощал пищу, я помнил о бланке, лежавшем в нагрудном кармане пиджака. Эта бумага приманивала все мысли, что приходили мне в голову, завершая любое умозаключение вопросом: стоит ли ввязываться в авантюру, на кону которой стояла человеческая жизнь? А затем я обрывал себя, находя доводы в пользу моего участия в слушании. Не для того ли созданы суды присяжных, дабы люди со стороны, вроде меня, могли чистым взглядом сопоставить факты и непредвзято, а именно на это и рассчитывает судебная система, предоставляя право голоса обычным людям – поварам и слесарям, не столько решить, а сколько почувствовать и определить, виновен ли подсудимый.

В конце концов устав спорить сам с собою, я пошел спать. Наутро, заполнив бланк, я отправил его по указанному адресу, втайне надеясь, что мне все же не придется идти, но эти молитвы не были услышаны. Вскоре пришел ответ: заявление принято и меня ждут на процессе по делу мадам Габен. Дата и время были указаны в конце письма.

Дело слушалось во Дворце правосудия, величественном здании с арочными окнами. У входа толпились журналисты, я услышал несколько щелчков фотокамеры, направленных в мою сторону, и поёжился, ступая по грубым ступеням, столь же вечным, как человеческое горе. И пусть совесть моя была чиста, все же на долю секунды я вообразил, что вхожу под почтенные своды не в качестве присяжного, а как подсудимый. А в общем-то, почему нет? Человек едва ли может чувствовать себя неуязвимым, когда на жизнь его влияет так много сторонних факторов. Не сегодня, так завтра может произойти пара-тройка совпадений – и вчерашний добропорядочный гражданин окажется под ударом судебсого молотка. Даже я, не укравший за всю жизнь и кофейной ложечки, мог бы оказаться жертвой обстоятельств, и тогда в припадке благородной справедливости толпа не преминет разделаться со мной!

Я нашел нужный этаж и пошел по коридору, затопленно-му полумраком, шаги мои звонко отзывались от мраморных стен. Возле нужных дверей я остановился и постарался разглядеть остальных присяжных. В этом коридоре с тусклым светом дальнего окна они напомнили мне шестерку Кале¹. До того призрачный и тревожный вид был у этих незнакомых между собой, связанных чужой судьбой и ответственностью странников, что мне стало не по себе.

¹ «Граждане Кале» – скульптурная группа из шести фигур французского скульптора Огюста Родена, посвященная одному из эпизодов Столетней войны.

Заседания французских судов обычно открыты для общественности, но дело Габен было слишком резонансным, и, не считая нескольких человек в официальной одежде в первом ряду, пары охранников и деловитой стенографистки за остроугольной машинкой, зал был пуст. Нас усадили на места, и секретарь судебного заседания обратился к нам с разъяснениями обязанностей, пригрозив тюремным заключением за разглашение состава присяжных и любой информации, полученной в зале суда или комнате обсуждений. Он объявил, что решение, которое мы вынесем, окончательное и не может быть обжаловано в апелляционном суде. От этих слов мне едва не стало дурно, и я мысленно осыпал проклятиями своего начальника, насылая на его лысую голову все небесные кары.

Вскоре в зал пригласили родственников жертвы: мать и сестру, и я поспешил отвести взгляд, тронутый искренним горем на их лицах. Еще несколько человек вошли в зал следом и заняли места чуть поодаль от них. Я не смог понять, кем они приходились покойному или обвиняемой.

А затем через боковую дверь ввели самую подсудимую. Ее сопровождали двое охранников и мужчина в темном костюме – я предположил, что это был адвокат. Лора Габен выглядела изможденной, что было неудивительно, но меня поразили контраст ее истинной внешности с фотографиями в прессе. Былой лоск начисто исчез из ее облика, но даже с лицом цвета пыли, выступающими скулами и темными круга-

ми, залегшими под глазами, она все еще была красива. Когда она села и обернулась, окинув печальным взором судебный зал, то на секунду мне показалось, что я слышу стон, который ей с трудом удалось сдержать.

Судьей оказалась женщина, и я отметил, что это хороший знак для Лоры. Однако ассессорами были мужчины, и по тому, с каким рвением оба они схватились за бумаги, я сделал вывод, что настроены они решительно. Процесс начался.

Первым выступил обвинитель. Обозначив детали дела, он передал слово экспертам по вещественным доказательствам, и я смог воочию увидеть полотенце, о котором так много слышал. Прошел не один час и состоялся не один перерыв, прежде чем мы услышали показания свидетелей, которых одного за другим вводили в судебный зал. Они подтвердили свои показания, и вскоре мне стало ясно, что дело для Лоры Габен складывалось не лучшим образом. Слишком яростно наступал обвинитель и слишком вяло парировал адвокат, словно и сам не верил в невиновность своей подопечной.

Наконец судья дала слово подсудимой. В судебном зале воцарилась тишина, и длилась она так долго, что я решил: этим все и закончится. Я был уверен, что Лора Габен не произнесет ни слова в свою защиту, и мысленно распрощался с ней, сокрушаясь и не желая верить, чтобы кто-то, имея возможность защитить себя, не воспользовался ею. Это была полная резиньяция.

Но тут она заговорила. Ее губы разомкнулись, и слова с

осторожным шелестом посыпались в строгое пространство зала судебных заседаний.

– Ваша честь, ассессоры, присяжные. Если я виновна, судите меня по всей строгости закона. Но сначала выслушайте.

Глубоко вдохнув, при этом худые плечи ее содрогнулись, она начала:

– Я познакомилась с Седриком, когда мне было двадцать четыре, а ему – тридцать. Я жила в то время на самой окраине Сен-Жермен, ближе к западной стороне, на улице Сент-Пэр. Я носила брюки и свитера, без остановки курила и редко расчесывала волосы. Моя комната, она же и художественная студия, была небольшой, но в ней редко бывало тихо. Моими гостями были обитатели Латинского квартала, сен-жерменщики, экзистенциалисты. «Подвальные крысы» – так нас все называли. Денег хватало лишь на эту комнату, зато хватало сил рассуждать о философии, следовать новомодным течениям и творить искусство. А это всегда было главным для меня.

В тот день я оказалась на площади Сен-Жермен-де-Пре и, не отрывая глаз, рассматривала скульптуру, установленную посреди площади. Ее выставяла молодая художница, конечно, я не вспомню ее имени. Она предлагала зрителям, которых на площади в тот день собралось немало, оторвать кусок от созданного в натуральную величину глиняного изваяния женщины. Я глядела, как один за другим к скульптуре подходили мужчины и, смеясь, отщипывали то тут, то

там, все больше увлекаясь этой неожиданной забавой, играючи лишали статую облика, превращая ее лишь в остов, набросок человека.

В какой-то момент я почувствовала чей-то взгляд. Обернувшись, я увидела мужчину, стоявшего в тени каштанов справа от меня. Его приятное загорелое лицо привлекло мое внимание, а улыбка, открытая, почти простодушная, разбудила любопытство. Я украдкой бросала взгляды в его сторону и гадала, почему он не желает присоединиться к действию, захватившему прохожих в это жаркое утро. Как вдруг мужчина поднял руку, подзывая к себе. Подобная бесцеремонность раздосадовала меня, и я хотела было отвернуться. Но тут он встал на колени прямо на асфальт и заломил руки в умоляющем жесте. Я рассмеялась и послушалась. Он был в одних носках и просил помочь найти обувной магазин – свои туфли он, как оказалось, отдал бездомному. Седрик сильно смущался, но я дала ему понять, что в квартале Сен-Жермен ему нужно беспокоиться лишь о том, чтобы не стать добычей воришек. Так мы и познакомились.

Я отвела его в лавку, где он купил новую пару туфель. А затем мы пошли во «Вьё Коломбье» и, едва отсидев половину спектакля, отправились в «Либрери». Седрик погасил мой тамошний кредит и досыта накормил друзей, вызвав их моментальное обожание. Он не знал, что с доброй половиной этих мужчин у меня были романы, замешанные, в основном, на страсти и вдохновении, обменявшись которыми, мы

расходились каждый своей дорогой – напиваться во «Флоре», спорить до хрипоты в «Табу», уединяться в студии и создавать работы, на которые могли хотя бы какое-то время смотреть без отвращения.

С того дня мы не расставались. Он поразил меня цепким умом и глубиной познаний. Седрик мог часами рассуждать о поэзии или искусстве, в то же время был непоседлив, словно школьник, сбежавший с уроков, стремился наполнить впечатлениями каждую минуту. Будто неутолимый голод толкал его вперед и я была единственной, кто мог утолить его. Я могла позвать Седрика в Венсенский зоопарк или на лодочную прогулку по Сене – он никогда не отказывался от моих затей. Мы могли просидеть три часа во «Флоре», забывая поесть, рассматривая подписи Сартра, Симоны де Бовуар и Кено, цедя холодную водку в полном молчании, – в этом я находила особенное блаженство. Мне чудилось, что я обрела недостающую частичку себя, каждое его слово находило в моей душе отклик, я восхищалась Седриком, как только может восхищаться влюбленная женщина тем, кого не знает до конца.

Я познакомилась с его милыми друзьями, с матерью и сестрой. Они приняли меня, пожалуй, слишком тепло, и уже тогда я должна была что-то заподозрить, но я оставалась в коконе иллюзий, сотканном образцовым миром, куда мы неожиданно для себя попали.

Впервые я стала подозревать, что с Седриком что-то не

так, наверное, во время медового месяца, когда мы отправились на остров Мадейра. Увидев величественные пики скал, обшитых набивным узором зелени, я внушила себе, что мы обречем здесь еще большее счастье. Оно ждало нас, и мы жаждали остаться наедине, отринув предсвадебную суету, праздник и напутствия гостей, желавших любви и попутного ветра. Все они, конечно, завидовали раю, который мы обрели благодаря друг другу, нашей молодости, стремлению быть вместе.

Мы поселились в бунгало у океана. Вдоль берега, куда хватало глаз, возвышались величественные скалы, выступая вперед, они подставляли массивные вулканические плечи терпким брызгам океана. Какой живительный воздух там, мне не описать его: чистый, волнующий, а что за дивные цветы там росли! «Лишь бы хватило красок», – волновалась я, глядя по сторонам. Опыренные свободой, мы, наверное, походили на выпущенных на волю экзотических птиц.

Ненавязчивый сервис очень скоро показался нам излишним, и мы отказались от прислуги. Теперь никто нас не беспокоил, по утрам, наскоро расправившись с завтраком, мы возвращались обратно в постель. Нежась под прохладными простынями, мы не могли наглядеться друг на друга, и прекрасный вид за окном едва ли мог отвлечь от созерцания любимых глаз. Казалось, не было силы, способной разделить наши руки и тела. Порой я ловила себя на мысли, что не верю в происходящее, слишком явным был сон, чтобы не усо-

мниться в его реальности.

Две недели прошли как одно мгновение, и поначалу я не могла уловить изменения. Седрик и раньше бывал задумчив, мог подолгу размышлять над какой-нибудь вкрадчивой мыслью, но стоило мне подойти, всегда встречал улыбкой. Теперь же я находила его то в молчаливой прострации у окна, то застывшим за столом с томиком Ронсара в руках, – казалось, он спал на ходу и никак не реагировал на мое присутствие. Он выглядел рассеянным, и, если я звала его, отворачивался или не отзывался. Я решила, что он захандрил. «Островной синдром» – так называли его туристы, которых мы встречали во время прогулок. Я решила, что в этом все дело. Но если Седрик устал, что мешало нам собрать вещи и вернуться домой во Францию? Я предлагала ему так и поступить, но он отмахивался и отправлялся на очередную прогулку по острову в одиночестве.

Я все реже рисовала. Запасы красок подходили к концу, и, свернув в рулон готовые картины, я не торопилась начинать новые. Мне пришлось подружиться с женщинами, которые ухаживали за садом. Теперь я не стремилась избавиться от них, а стала приглашать в дом, вызывая этим их смущение. Мне нужно было отвлечься, чтобы не признаваться себе в очевидном: Седрик отдалился от меня. Казалось, он тоскует по кому-то, кого не было рядом. Но ведь я была его женой, неужели кроме меня в его сердце нашлось место для другой? Я гнала эти мысли, но чем больше пыталась, тем более зло-

вещим был голос неуверенности, сидящий во мне.

В конце концов я настояла на отъезде. Мне казалось неразумным проводить столько времени порознь, и я надеялась, что, когда окажусь в привычной обстановке, все вернется на круги своя. За день до отъезда я собирала вещи и злилась на Седрика за очередное отсутствие. Я помню, как складывала его рубашки и вдруг почувствовала непривычный запах на одной из них. Это был аромат масла питанги. От подозрения у меня закружилась голова, ведь в ту минуту я осознала, что одна из девушек, работавших у нас, часто отсутствует в то же самое время, когда Седрик отправляется гулять.

С опустошающей ясностью я поняла, что Седрик влюбился в прекрасную островитянку. Гибкая, загорелая, ей не было и семнадцати, она, конечно же, с легкостью отдала сердце в обмен на внимание привлекательного иностранца. И вот я уже не могла думать ни о чем другом, кроме того, что он изменяет мне с ней, и возможно, прямо сейчас. Нацепив сандалии, я побежала вверх по тропинке, обложенной густыми зарослями папоротника, не чувствуя жара солнца, оступаясь на подъеме и задыхаясь от волнения, воображая, как поступлю, увидев их вместе. Я кляла себя за слепоту.

Вдруг я увидела Седрика. Он медленно брел, минуя тропу, наперерез, по направлению к неровному каменистому плато, заканчивающемуся обрывом над бухтой. Что-то остановило меня от того, чтобы выкрикнуть его имя. Я ждала. Думала, что где-то прячется его возлюбленная, прекрасная

островитянка. А возможно, они только расстались. Как бы то ни было, я хотела знать. И кралась за ним, выжидательно, осторожно, чтобы не выдать себя, чтобы увидеть больше, чем была готова.

Люди всегда двигаются иначе, когда подходят к пропасти. Но он шел так, словно глаза его были закрыты и он не видел, что впереди на расстоянии десяти шагов разверстывается свирепая пасть, готовая проглотить беззащитную фигуру. Внизу с шумом плескался океан, и я слышала его свирепое рычание, ударную мощь его волн, изголодавшихся по суше. Седрик шел, а я считала шаги, уверенная, что еще один – и он остановится. «Десять, девять, – глотала я горький воздух. – Пять, четыре, он будто заснул! Два, один...» Как вдруг океанский бриз нашатырем ударил мне в нос, приведя в чувство.

– Седрик! – прокричала я так громко, что птицы сорвались с ветвей и, испуганно крича, унеслись прочь.

Он остановился. Не оборачивался. Будто окаменел. Я не знала, смеется он, что напугал меня, или не услышал из-за шума воды, а просто остановился, потому что и не собирался подходить ближе. Наконец он повернулся, спустя, как мне показалось, целую вечность. А его лицо... До чего красиво было его лицо в тот момент! Словно лицо ребенка, созерцающего нечто прекрасное, доселе невиданное. Пронзительно чистое, удивленное.

– Любимый! Ты едва не упал. – Я подбежала к нему и об-

няла, дрожа в ледяном ознобе.

Мы вернулись в Париж, и я вздохнула с облегчением. Мои опасения о неверности супруга оказались напрасными, и я была рада сбросить с себя тяжкое бремя подозрений. В то время я искренне считала, что измена – это самое страшное, что может случиться в браке. – Лора усмехнулась. – Да и Седрик снова стал прежним и по-прежнему любил меня, я видела это своими глазами тогда, над обрывом!

Мы переехали в его квартиру, и жизнь встроилась в ритм, которого я так жаждала. Ритм любви, вдохновения и джазовых музыкантов, которые взошли на французском небосклоне: Виан, Ив Монтан. Мы слушали пластинки и танцевали посреди комнаты, взявшись за руки, забыв обо всем. Я много работала и приняла участие в нескольких выставках, на которые ходил и Седрик. Он стал частью художественного процесса: гулял со мной по улицам в поиске вдохновения, помог с ремонтом студии и мог часами наблюдать, как я рисую. Он согревал натурщиков чаем и приносил из булочной печенье. А иногда и сам позировал. Это были чудесные дни!

Меня смущало лишь то, что его мама стала навещать нас чаще, и я не могла понять, что кроется за ее возросшим интересом и желанием непрерывно находиться рядом с сыном. А потом она и вовсе перебралась в нашу квартиру, и, хоть старалась не мешать, от ее молчаливого присутствия мне становилось не по себе. Когда ей все же приходилось

уезжать, она подолгу мешкала на пороге, не желая прощаться, задерживая взгляд на Седрике, силясь найти ответы на какие-то неведомые мне тревоги и предчувствия.

Я не могла понять причину ее беспокойства и списала его на обыкновенную материнскую заботу. Но вскоре Седрик исчез.

Был выходной день, стояла чудесная погода, и мне очень хотелось прогуляться по осеннему парку вместе с мужем. Уверенная, что он на кухне или в гостиной, я обошла квартиру и решила, что он вышел в магазин. Но шли часы, а Седрик не появлялся. Приехали мать и сестра, и мы несколько часов просидели в напряженной тишине, слушая отрывистые вздохи друг друга, стараясь успокоиться придуманными оправданиями его отсутствия. Мы прождали так до самого утра, едва помня себя от усталости, а когда взошло солнце, в дверь постучал полицейский. Он сказал, что Седрика выловили из озера, в котором он пытался покончить с собой.

Я помню дорогу до госпиталя, взволнованные лица матери и сестры и свое изумление. Я не могла соотнести страстную живую натуру мужа с этим жутким поступком, думая, что произошла нелепая ошибка и Седрик просто случайно упал в воду. Я знала, что у моста Бют Шомон дурная слава, но привыкла думать, что самоубийцы – это несчастные, покалеченные люди. Как среди них мог оказаться мой возлюбленный? Ведь у него было все, чтобы чувствовать себя счастливым!

Помните, в «Одиссее»:

Перед тобой распахнулось новое море:
Память человека, жаждущего умереть...²

Вопреки моему желанию, мне тоже открылся новый мир, мир самоубийцы, только был он столь пугающ и чужд, что я могла лишь смотреть в приоткрывшуюся щель, едва сдерживая крик ужаса... Когда мы приехали в госпиталь, мать Седрика вбежала в палату и впала в истерику: она то плакала от страха за жизнь сына, то смеялась от счастья, что он остался жив. Я же стояла поодаль, оторопев, разглядывая бесцветное решительное лицо своего супруга. В тот момент я поняла, что глубоко заблуждалась, считая, что он прост и понятен. Я не знала Седрика и боялась узнать его по-настоящему.

Мы приехали домой, и романтическая пелена стала спадать с моих глаз. Вдруг в ином свете стали вспоминаться его нередкие замечания о скоротечности жизни и судорожная жажда впечатлений. Мне стало ясно, почему он выбрал меня в спутницы жизни. Ведь больше, чем Седрика, я любила жизнь, возможности, которые она предлагала. Я любила людей, считая каждого из них могущественным творением природы, единством тела, разума и красоты. Индуисты называют такую любовь тришной. Говорят, что она живет в каждом человеке и нужно лишь разбудить ее. И если это было прав-

² Из сонета Ива Бонфуа, «Ulysse passe devant Ithaque», перевод М. Гринберг.

дой, то я должна помочь Седрику осознать то, что чувствовала сама, остановить убийственный механизм, запущенный в его сознании. Так я решила, что спасу своего мужа, чего бы мне это ни стоило. Я была готова, если понадобится, посвятить этому всю жизнь и приступила к действиям. Мольберты были убраны, картины отвернуты к стене. Я закрыла студию, и вдохновение послушно покинуло меня, а следом и друзья, которые приняли мой поступок за предательство. Мне было все равно. Я считала, что жизнь мужа важнее любого творчества, деятельности и товарищей.

Седрик был хорошо обеспечен, мы могли жить не работая долгое время, и я приняла на себя бремя заботы о муже так же безропотно, как монахини принимают забытое миром дитя. Я перестроила ход нашей жизни, чтобы создать условия для отрадного существования, в котором не было места тревоге и волнениям, присутствовали лишь близкие и приятные мужу люди. Я считала, что стоит лишь подождать, и его дьявольская одержимость просто исчезнет. Какое-то время моя методика действовала. Седрик постепенно возвращался к жизни, чаще улыбался, и временами мне казалось, что все налаживается, но вдруг новый всплеск меланхолии затягивал горизонт его души, и тогда он становился угрюм и раздражителен. Я понимала, что с каждой подобной переменой его засасывает все глубже в пучину безнадежности, и однажды осознала, что нужно что-то менять.

В один из дней я увезла Седрика в Авиньон, в его семей-

ное шато. Стройные ряды виноградников и ужин в заведенное время должны были благотворно подействовать на него. Плодоносная земля, свежий воздух и отлаженная деревенская жизнь просто не могли не выправить сбившийся ритм его сердца.

Дом был очарователен. Высокие потолки, домашняя библиотека, конюшня и винокурня. Каждый вечер мы собирались у камина, пили молодое вино и болтали о том о сем. «Было бы чудесно родить и вырастить здесь ребенка», – думалось мне. Седрик помогал бы матери с виноградниками, я ухаживала бы за садом, следила за поместьем. Но природа будто позаботилась о том, чтобы нацеленные на саморазрушение частицы Седрика не продолжили существование в новом человеке. «Почему во мне не зарождается новая жизнь? – спрашивала я себя. – Ведь мы муж и жена и делаем все, что нужно».

Я хотела надеяться на лучшее, но все равно жила со смутным предчувствием беды. Его не могла изгнать ни пестрая атмосфера театрального фестиваля, ни туристы, каждую неделю приезжающие в шато, ни сбор урожая. Я была словно лиса с обострившимся нюхом – всегда настороже, всегда наготове. Я научилась узнавать настроение Седрика по звуку его шагов, выучила наизусть все оттенки его мимики, стараясь выявить в них нервозность. И если мне это удавалось, я не отходила от него ни на минуту. Как мать, впервые услышав крик своего младенца, в мгновение ока настраивается

на эту частоту и навсегда запоминает ее, чтобы узнать из сотен других, я настроилась на ненадежную частоту мужа, ни одного трепетания которой нельзя было упустить. Беда не заставила себя ждать.

Тем утром мы нашли Седрика без сознания. Он где-то раздобыл бутылек со снотворным, из которого выпил все таблетки. Мы вызвали врача, по счастью, он жил недалеко и успел промыть желудок и спасти моего мужа, а я считала нерастворившиеся таблетки, глядя на пенистую жижу, которая выходила наружу из его желудка. И с каждым толчком я ощущала, что бессилие все больше завладевает мной.

Но я не умею бездействовать, мне был необходим враг, чтобы сразиться с ним. И очень скоро я нашла его в собственном лице. Ведь если женщина делает из мужчины лучшую версию, то я не справилась, а значит, вина за содеянное лежала и на мне тоже. Найдя виновного, я воспряла духом. Теперь каждое утро я начинала с того, что подавала Седрику завтрак в постель. Я готовила его любимые груши, томленные в меду, – для этого мне приходилось вставать на час раньше обычного. Выпекала булочки с корицей и варила кофе. К обеду у меня уже была запланирована прогулка с собаками, а следом верховая езда. Вечером я зажигала свечи и подавала ужин, провожая каждый кусочек взглядом, наслаждаясь аппетитом мужа, и забывала поесть сама. Я думала, что чем больше любви я покажу ему, тем быстрее истреблю это инородное страшное желание покинуть меня. Я глядела

в его лицо, ища в нем признаки выздоровления. А Седрик отворачивался и ворчал, что я веду себя точь-в-точь как его мать. Каждый мой шаг стал подчинен ему. Наверное, только сейчас я понимаю, что любовь – это лекарство и что каждое лекарство вредно в избытке.

Одним из вечеров я застала Седрика с девушкой, это была одна из работниц виноградника, безымянная и миловидная. Я вошла в спальню, и они были там: раздетые, взволнованные друг другом, застигнутые врасплох той, которая каждую минуту думала лишь о благополучии мужа. Я выбежала из комнаты не помня себя. Слезы застилали глаза, и, не видя ничего вокруг, я выбежала на улицу, где мать Седрика остановила меня. Я с трудом объяснила, что стряслось, – так сильно была взволнована. Но она спокойно выслушала меня и попросила не предпринимать решительных шагов до вечера.

Не знаю, почему я осталась, наверное, мне и самой было нужно увидеть Седрика, услышать его объяснения. И когда он наконец спустился, мы его не узнали. На лице его сияла счастливая улыбка, та самая, которая поразила меня в первый день знакомства. Та, которой я не видела уже много месяцев. Мы переглянулись с его матерью, поняв друг друга без слов. Лекарство было найдено. В ту минуту ушла вся моя боль, страх и осталось осознание: Седрик – обыкновенный мужчина. Какое облегчение я испытала, поняв это! И я дала согласие на встречи Седрика с Матильдой.

Скромная, улыбчивая, она стала приходить к нему каждую ночь. Иногда они оставались в постели до обеда, и я лично приносила им еду. Ставя поднос у закрытой двери нашей спальни, я не испытывала неловкости и убеждала себя, что исцеление бывает болезненным не только для больного. А то, что это и было исцелением, я не сомневалась.

Как-то раз Седрик и Матильда уехали на конную прогулку. Стоял летний день, виноградные листья скрутились от зноя, превратившись в упругие дудочки, а в воздухе стрекотали кузнечики. Я бродила среди виноградных побегов, под ногами шуршал гравий, и ощущение забытой безмятежности упоило меня: я вдруг осознала, как давно не находилась наедине с собой. Было приятно срывать сочные виноградины и ощущать их горячий сладкий сок. Прикрыв глаза, я пребывала в позабытом и вновь обретенном покое, как вдруг услышала женский крик. Выбежав на площадку перед подъездом, я увидела, что лошадь Седрика во весь опор мчится к дому, а на ее спине, едва удерживаясь в седле, сидит Матильда. На счастье, рядом были люди и им удалось остановить взбешенное животное. Матильда кричала, вне себя от страха, и на вопрос, где Седрик, рыдая, рассказала, что лошадь понесла, а он на полном ходу выпал из седла.

Матильда была уверена, что с ним произошел несчастный случай, и лишь членам семьи была ясна истинная причина инцидента. Седрик сломал ногу и получил сотрясение мозга. Можно сказать, что все обошлось, но Матильда больше не

появлялась в доме, а Седрик замкнулся в себе и проводил все время в постели, насупленный и злой. В отчаянии и вопреки воле матери я увезла его обратно в Париж.

Судья кашлянула, и Лора, вскинув глаза, быстро произнесла:

– Осталось еще немного, ваша честь. Я почти закончила.

Париж. Он встретил нас еще более прекрасным. Он вдохнул в меня блаженное чувство защищенности: все же это был мой родной город, мой дом. Я скучала по его живописным улочкам, которые так и просились на холст. Но у меня уже не было ни холстов, ни красок. На моих руках был только Седрик. Теперь он подолгу молчал, не хотел никого видеть, перестал бриться и есть. Его постоянно бил озноб, от него не спасал ни чай, ни травяные настойки. Все чаще он сидел дома, у камина, грея кости, словно старик. Мои жалкие попытки привести в дом какую-нибудь юную натурщицу в тайной надежде заинтересовать его теперь воспринимались как покушение на затворничество, и он с криками просил оставить его в покое. Люди стали ему в тягость, он никого не желал видеть и не мог смотреться в зеркало. Ему стало бременем даже собственное отражение. Он перестал звать меня по имени, называл подругой. Видимо, так он и воспринимал меня. Я стала его помощницей. Что мне оставалось делать? Только быть рядом. Но все чаще я вспоминала нашу встречу тем летним днем, в тени каштана, и искала в этом сутулом, отрешенном человеке прежнего Седрика – любопытного и

влюбленного. Мне хотелось знать: могло ли у нас быть все по-другому?

Несмотря на немощь, ему втайне от всех удалось распродать почти все свои ценные вещи. Он пожертвовал большие суммы детским приютам и больницам и внес в завещание указание поддерживать их после смерти. Он прощался с жизнью, а люди благодарили его, не ведая истинных причин его щедрости. Врачи, а к тому времени мы с его матерью успели повидать многих специалистов, в очередной раз уверили нас, что Седрик не помешался. Они прописывали лекарства и отмечали крайнюю психическую истощенность, не имеющую под собой оснований. Он был здоров, за исключением того, что кровь его была отравлена необъяснимой меланхолией, съедающей изнутри. Это была загадка отдельно взятого разума, которую никто из врачей не мог объяснить. «Курс на вечность» – так, кажется, выразился самый прогрессивный из них...

– Я заканчиваю, ваша честь, – произнесла Лора, глядя перед собой, сосредоточив взор. Я заметил, что она дрожит. – Знаете ли вы, что такое усталость? Не та усталость, что после долгого дня тянет к дивану, и не та, что охватывает мышцы после долгой прогулки. Известна ли вам усталость иная – черная, как деготь, обездвиживающая, как ловушка дьявола? Усталость самой души. Ее невозможно вытравить ни смешной пьесой, ни хорошей компанией, ни бокалом вина. Бывал ли у вас сон, который не приносит отдыха, и слезы, не

дающие облегчения? Именно такую усталость и приносит с собой любовь.

Когда я увидела его там, у плиты, я поняла, что наш путь окончен. Он не поднялся, лишь обернулся и с невыносимой усталостью посмотрел на меня. Не в глаза, а на *всю меня*, как на осточертевший объект, чертову тень, не отступающую ни на минуту. Только лишь по привычке я бросилась к нему, собираясь оттащить, выключить газ, открыть окна настежь, вытащить из темноты на свет, но тут он произнес мое имя. Тихо, почти неслышно. А затем рассказал, что в день нашей встречи отдал свою обувь нищему, потому что знал, что она больше ему не понадобится. В его кармане лежал сильный опиат, который должен был убить его. За ним он и пришел в Сен-Жермен, а я... Я просто спутала его планы. «Ты была так прекрасна в созерцании той глиняной скульптуры, – сказал он мне. – Нужно было позволить тебе смотреть на нее и дальше, не окликать, не спрашивать твоего имени. Я просто надеялся, ты сумеешь меня спасти».

Вот кем я была для него – последней надеждой. То, что я ошибочно приняла за любовь, было всего лишь жадой спасения...

Я вышла из кухни и закрыла за собой дверь, а потом взяла из ванной полотенце и подложила снаружи, проследив, чтобы не осталось ни одной щелочки. Набросив пальто, вышла на улицу и стала бродить кругами по оледенелой улице. Мои пальцы сводило, но не холод был тому виной. За всю

свою жизнь я не ощущала такой пустоты в руках. Я думала о картинах, которые не написала, о людях, которых покинула, о годах жизни, отравленных страхом, о скульптуре, отданной на растерзание. Я буквально ощущала, как сотни жадных мужских пальцев без сожаления рвут по кусочкам беззащитное тело, пока от него не останется лишь бесформенное основание, похожее на камень...

Принято думать, что мать сумеет на вытянутых руках бесконечно долго удерживать над обрывом собственное дитя, ведь ее безграничная любовь придает ей сил. Но это не так. У всего на свете есть предел выносливости. Даже самые сильные и любящие пальцы когда-нибудь онемеют и разожмутся. И тогда... – Лора Габен запнулась. – Я прошу судить меня не за убийство. Я прошу судить меня за то единственное, что владеет мной так долго, что, кажется, родилось со мной. Владеет даже сейчас, когда виновника этого чувства уже нет на свете. Судите меня за то, в чем я по-настоящему виновна. – С этими словами ее сжатые в замок пальцы обессилели и разомкнулись. – За то, что мучительно, невыразимо, беспредельно устала...

* * *

Когда жюри присяжных удалилось на обсуждение, оказалось, что голоса разделились поровну. Четыре голоса «за» и четыре «против». Чтобы вынести обвинительное или

оправдательное решение, нужен был последний голос, и он оставался за мной. Я произнес: «Невиновна», скорее чувствуя, чем зная, что своим решением даю Лоре Габен то, чего в глубине души ждет каждый самоубийца. Прежде чем вернуться в свою мирную, однообразную жизнь, я преподнес ей подарок. Я подарил ей еще один шанс.

Оля Птицева

Инстинктивная реакция утопающего

*Он смотрит в нее как в воду и входит в нее как
в воду,*

*она вдыхает его как воздух, и он обращается в
воздух.*

Сергей Шестаков

Анна находит себя у моря. Вода пенится и хлещет ее мокрым подолом платья по бедрам. Платье черное, в раскидистых маках. Анна купила его зимой в модном магазинчике на Пресне. Скидка была внушительная, декабрьская метель за окном тоже.

– Вы бы примерили, – предложила ей девушка за кассой. – Такой фасон не всегда садится.

– На мне сядет.

В декабре Анна была уверена во всем. В своей уместности и курсе рубля, личной безопасности и в том, что все по силам, если не выбирать из слабости. А когда начинала сомневаться, то писала Андрею: «*Что-то я раскачалась, приежьай скорее*». А он отвечал: «*Уже совсем скоро, малыш*». Даже если они не виделись три недели подряд, зимняя Анна была уверена, что на четвертую их встреча как-то да сло-

жится. К сентябрю от уверенности ничего не осталось. Но платье сидело отлично, с ним Анна не прогадала.

– Послушай, ехать туда – отстойная идея, – сказала Лиза, когда билеты уже были куплены. – Он тебя не ждет. У него там женщина другая, Ань. Не надо к нему рваться.

– Я не к нему, – шевеля губами, но не слыша собственного голоса, ответила Анна.

Со слухом происходило что-то странное. Уши закладывало внезапно и яростно, словно она взлетает на космическом корабле и тот отбрасывает первую ступень. Нет, не так. Будто бы она погружается на глубину. И вода заполняет ушные раковины, бьется о перепонку, выгибая ее внутрь.

– Ты будешь жить отдельно? – уточняет Лиза. – И то хлеб, хоть какая-то независимость.

Анна не думала ни про хлеб, ни про независимость. Просто к себе Андрей ее не звал. Она подходила к выбору жилья, как подходят к чану с ледяной водой. Проламывала хрусткую корочку, ощупывала края пальцами. И опускала лицо в раскаленный холод, чтобы выбрать апартаменты с ортопедическим матрасом, комфортной душевой и балконом. Писала Андрею жалкое: *«Там вид на сосны, тебе понравится»*. И напряженно ждала ответ. Когда он отвечал: *«Там будет вид на тебя, мне этого достаточно»*, – вода в несуществующем чане мгновенно нагревалась, сквозь нее Анна видела страницу мессенджера. Андрей все чаще оставлял ее сообщения без ответа. Но если ответ приходил, то каждую букву можно

было смаковать, перечитывать слова, искать в них смыслы, потом подсмыслы, потом подсмыслы подсмыслов.

– Ты впадаешь, – говорила ей Лиза. – Это выглядит нездорово.

Анна знала, как это выглядит. Достаточно было поискать в интернете инстинктивную реакцию утопающего в картинках. Человечка там обычно рисуют ушедшим под воду. Он вытянут в струну. Он задумчив и молчалив. Он вытягивает руку в стороны, чтобы оттолкнуться от воды. Анна нашла памятку по спасению утопающих, но там не оказалось лайфхаков, только описания состояний. Анна перечитывала их, пока часами ждала сообщения от Андрея.

1. Утопающие физически не способны позвать на помощь. Речь – вторичная функция дыхательной системы. В экстренной ситуации она отключается, чтобы все силы пустить на процесс вдоха и выдоха.

– Если что-то пойдет не так, ты мне скажешь? – допытывалась Лиза.

– Скажу, – врала Анна и заказывала себе еще красного, чтобы смыть с языка горькую морскую соль.

Все старательно шло не так. Анна чувствовала, как ее за-тягивает. Любое движение становилось медленным и тяжелым. Слезы собирались в резервуарах внутри головы, когда Анна качала ею, слышала всплески и бульканья. Она ложилась на кровать, прижимала лицо к подушке и позволяла части слез выйти, чтобы резервуары не переполнились. Чтобы

не лопнули в ней. А еще Анна врала. Лизе, маме, терапевтке. Говорила:

– Я все контролирую, просто сложный период, но я справляюсь.

Обещала:

– Я все закончу, как только пойму, что это тупик.

Рассуждала:

– Мы два разумных человека, мы не хотим друг друга травмировать. Мы находимся в контакте. Это движение в одну сторону, я точно знаю.

Андрей прилетал, они снимали отель – Анна оказывалась там первая, пока самолет *оттуда – сюда* только заходил на посадку. Хостес смотрела на Анну равнодушно, предлагала поднять в номер багаж. Из багажа у нее с собой было две пары трусиков, косметичка и упаковка презервативов. «*Я справлюсь, спасибо*». Дурацкий ковер в номере чуть скрипел, Андрей писал: «*Я буду минут через двадцать*». И Анна успевала намотать гирлянду на изголовье кровати перед тем, как он стучал в дверь. А дальше кадры из черно-белого любовительского фильма: он заходит, куртка расстегнута, шарф стянут, улыбается смущенно. Она обнимает его, кажется, с прыжка – от подоконника до двери в одну монтажную склейку. И они стоят, покачиваясь. То ли баюкают друг друга, то ли ноги не очень держат.

Андрей брал ее лицо в ладони и легонько дул на прикрытые веки. В этом было столько нежности, что боль истон-

чалась, и резервуары высыхали, и становилось так щекотно, что почти не страшно. Да, через три ночи снова будет прощание. А пока предчувствие поцелуя, который вот-вот начнется. Как глоток воздуха перед новым погружением на дно.

2. Рот тонущего попеременно уходит под воду и появляется из-под воды, за этот промежуток тонущий не успевает крикнуть, только выдохнуть и вдохнуть.

Они решили взять паузу на два месяца. Разлука для выполнения списка дел: работа, накопившийся быт, другие партнеры, с которыми пора было уже решить что-то точно. А перед тем как разъехаться, выходные вместе. Бесконечное сладостное посмертие. Пальцы Андрея у нее во рту, член глубоко внутри, Анна дышит со всхлипами и просто физически не способна на еще один оргазм. Андрей долго молчит и гладит ее по волосам.

– Ты замужем, – твердил он потом, собираясь в аэропорт. – Мне это невыносимо.

– Мы даже не живем с ним вместе, – оправдывалась Анна. – И у тебя вообще-то есть девушка.

– Мы тоже не живем с ней вместе, тут квиты. И вообще это не отношения, а формальность. – Андрей тер переносицу, глаза у него становились беззащитными. – Ань, я расстанусь с ней, как только ты разведешься.

«Если формальность, то расстанься! Расстанься прямо сейчас! Позвони ей и скажи, что любишь меня! Меня!» – хотелось закричать Анне, но ее рот снова уходил под воду.

3. Тонущие люди не размахивают руками, они раскидывают их в стороны, чтобы отталкиваться от воды. Все ради поверхностного вдоха над водой.

Когда билет оформлен, а от хозяйки апартаментов получено подтверждение брони, Анну начинают мучить сны. Она стоит у кромки воды и видит себя со стороны. Ракурс ломаный, чуть зыбкий. И вода зыбкая – идет рябью, но не прибой, нет, скорее круги от брошенного камня. Анна видит, как вода поднимается по вертикальной оси, будто часть разводного моста, но не боится, а просто ждет, чтобы темная зыбкая поверхность оказалась напротив ее лица. И тогда она делает шаг. Раскидывает руки, будто готова обнять эту беспокойную тьму, входит в воду и шепчет: *«Он смотрит в нее как в воду и входит в нее как в воду»*. Мир резко заваливается навзничь, плоскость меняется, и Анна оказывается в воде. Отчего-то она думает, что вода твердая, но та не собирается держать ее вес, пропуская Анну все глубже и глубже. Это падение без конца. Анна ждет дно, но дна нет. Нет никакой возможности оттолкнуться, только движение вниз. Под самую толщу. Туда, где нет ничего, кроме Анны и мерного голоса в ее голове: *«Он смотрит в нее как в воду и входит в нее как в воду»*. Утром Анна вбивает эти слова в поисковик. Смотрит на фото того, кто их придумал. Он совсем не похож на Андрея, но чем дольше Анна смотрит в глаза на фото, тем отчетливее видит сходство. В любом, на кого пристально смотришь, можно разглядеть знакомую черту, главное –

захотеть. Анна хочет видеть Андрея, а видит знаки.

Знаки повсюду. Сквозь пыльную витрину фермерской лавки на Анну смотрит рыба голова. Пасть раскрыта, глаза пустые и мутные. Анна отворачивается и видит, как из отброшенного дворником шланга начинает хлестать вода. Тянется по асфальту к ногам Анны, отрезает ей пути отхода. Дворник бежит через газон, кричит ей: *«Девушка, не стойте столбом, сейчас промокнете!»* Анна чувствует холодные прикосновения воды через ткань кед, пишет Андрею: *«На меня напал шланг для полива, надо было надевать босоножки, еще видела дохлую рыбу, скучаю по тебе очень-очень, почему ты молчишь?»* Смотрит на сообщение и стирает, потому что настала очередная среда. Среда – день той-другой. Андрей не говорит об этом прямо, но Анна знает, что по средам он становится отстранен и молчалив, пропадает из доступа, оставляет без ответа прямые вопросы. Но потом, когда к полудню четверга он возвращается от той-другой, становится виновато-ласковым. Анна ненавидит его за это. А себя презирает за радость, которую ей приносит полдень, стоит только пережить тишину среды.

– Зачем тебе это? – спрашивает Лиза и сворачивает сигаретку с вишневым табаком. – Он красавец? Нет. Богат и очарователен? Снова нет. Он вваливает в тебя тонну заботы и сил? Нет. Он жрет тебя? Да.

– А я его, – чуть шевеля губами, говорит Анна.

– Оба вы маньяки, – соглашается Лиза. – Только на него

мне срать, а на тебя нет.

Знаков все больше. Анна моет голову, и вода затекает в ухо. Она прыгает на левой ноге, пытается вытряхнуть чужеродное, но слышит прибой. Тот шумит в такт сердцу, набирает силу и разбивается волной о перепонку где-то внутри залитого уха. Анна знает: когда она наконец-то достигнет дна, то обратится в этот шум. Левая нога подворачивается, тело заваливается вбок. Анна сидит на полу ванной и баюкает ушибленную щиколотку. Будет синяк. Фиолетовый с красным, как закат над встревоженным морем.

4. Из-за инстинктивной реакции тонущий физически не может контролировать движение своего тела и совершать осознанные попытки перестать тонуть.

Анна сидит на кованом стуле и смотрит, как по ровному стволу сосны карабкается белка. Кажется, что у ее лапок просто нет точек опоры, но белка упорно цепляется, подтягивает тельце и размахивает пушистым хвостом, чтобы удержать равновесие. Что-то внутри Анны хочет, чтобы белка сорвалась – пискнула отчаянно и полетела вниз. Но белка добирается до крепкой ветки и скачет по своим беличьим делам. Анна наливает себе еще немного холодного белого и делает глоток. Воздух вокруг горячий и плотный. Пахнет смолой, солью, подгнившим инжиром и кремом от солнца. Сентябрь у теплого моря – время томное и знойное, с долгими

закатами и непроглядной тьмой сразу после того, как оранжевая полоса у горизонта затухает. Мысль, что в этой сосновой неге кто-то работает 5/2, не укладывалась, но Андрей написал: *«Отдыхай пока, я закончу, и пойдем ужинать»*. Ужинать не хотелось, голова после такси – самолета – такси кружилась, а тревога, набирающая густоту, начинала гудеть в ушах.

Можно было спуститься к воде. Скинуть босоножки, подхватить подол платья и пройтись по мокрой гальке, ловя прохладные капли прибоя. Анна так и решила: вышла из отеля, вдохнула поглубже всю эту суетную южность и свернула к винному магазинчику. Солнце все еще было высоко, Андрей обычно завершал работу ближе к закату, писал Анне: *«Прогуляюсь к морю»*. Не уточняя, идет ли один. Или с той-другой. Анна отвечала: *«Передавай привет»*. Не уточняя, морю ли. Или той-другой. И тоже уходила из дома бродить по вечернему городу, чаще одна. Иногда нет.

Анна трясет головой, прогоняя тех-других и ту-другую. Терапевтка спрашивала ее: *«Вы осознаете, что делаете, когда не заявляете о своем желании эксклюзивности?»* Анна разводила руками, мол, я заявляла, а толку? Терапевтка уточняла: *«Вы заявляли словами, но действия ваши идут с ними вразрез»*. Вразрез – это заканчивать прогулку в соседнем баре, улыбаться там самому застенчивому бармену, а потом давать ему целовать свой хмельной рот. Вразрез – это в особенно невыносимые вечера звонить мужу и выть, что-

бы он приехал, и лежать лицом в его грудь, и слушать, как он знакомо дышит, и чувствовать, что этого хватает, чтобы успокоиться. Вразрез – это не уточнять, один ли Андрей гуляет у моря. Делать вид, что это не имеет значения, когда оно имеет.

Анна допивает бокал и становится под горячие струи душа. Смывает с себя дорогу и сомнения. Долго смотрит на отражение в зеркале, трогает живот и бедра, мажет их кремом. Решает не надевать белье. Ведь это будет забавно: Андрей поднимется в номер, обнимет ее вместо приветствия и сразу поймет, что на ней нет трусиков. Ужин можно и пропустить. А на закат они посмотрят с балкона. Голые, чуть насытившиеся друг другом. Анна набрасывает халат, подбирает телефон с пола. Андрей пишет: *«Буду ждать тебя в холле, спускайся минут через пять»*. Анна смотрит на трусики и оставляет их подвешенными на крючок у душа. Меняет халат на платье с маками и спускается в холл.

Сердце стучит сразу во всем теле. Дышать становится трудно, будто бы она на глубине, а трубка, по которой должен идти кислород, забилась. Анна застывает в дверях лифта, оглядывает холл и тут же находит Андрея. Тот стоит спиной. Светлая рубашка, светлые брюки. Волосы влажные, зачесанные назад. От нежности и желания начинает болеть живот. Двери лифта озабоченно пищат, подгоняя Анну. Она выскакивает в холл и идет к Андрею, прикладывая остатки усилий, чтобы не сорваться на бег.

– Привет, – шепчет ему в шею и целует легонько, проверяя, настоящий ли.

И когда он поворачивается, она понимает: да, настоящий. Не буквы в мессенджере, не воспоминания перед сном. Горячая кожа, сухие губы, запах пота и парфюма, который Анна тщательно выбирала в самом начале лета. Андрей обнимает ее молча, но крепко. И они стоят так, глубоко вдыхая друг друга. А потом выходят из отеля в чуть розоватый закат и идут, крепко сцепившись пальцами. На ходу Анна тянется и целует его в скулу. Он смотрит удивленно, будто не совсем узнает.

– Привет, – говорит он и наконец улыбается.

Анне становится легко и радостно. Она ускоряет шаг, почти бежит, чтобы скорее вступить в море. Разувается на острой гальке, тянет Андрея за собой, но тот остается поодаль. Анна входит в прибой и ойкает от соленой щекотки. Море немного штормит, накатывает с силой и утягивает за собой, отползая. Андрей ждет, пока Анна нашлапается ступнями в воде, подает ей руку, чтобы она обулась.

– Ты голодный?

– Немного. Давай поужинаем. Скоро закат.

Солнце и правда начало спускаться к воде. Они садятся на веранде. Салат со свеклой, мягкий сыр, белое вино. Анна осторожно накалывает оливку, переводит взгляд от заката на Андрея, тот смотрит на нее не отрываясь, будто пытается запомнить каждую ее часть. Ключицы, нос, брови, морщинки

у глаз, красные маки на черном платье. Приметы голого тела под платьем. Разговор скачет от погоды к общим знакомым, стремительно темнеет, сонная чайка истошно кричит, сидя на волнорезе.

– Хочешь еще вина?

– Нет.

– Хочешь, посидим у воды?

– Нет.

– Тут вкусные мидии...

– Я не хочу вина, мидий и воды. Хочу тебя.

Андрей замолкает, моргает медленно, ловит ртом воздух и просит счет. Когда они выходят в мгновенную южную тьму, Анна берет его руку и опускает ее на косточку своего лобка. Андрей проводит ладонью верх и вниз. Осознает отсутствие лишней ткани, отнимает ладонь, кладет ее Анне на шею, сзади, надавливая на позвонки. И ведет обратно в гостиницу. Они целуются в лифте. Андрей берет ее лицо в ладони, наклоняется, просит: *«Выдохни мне в лицо»*. И втягивает ее выдох в себя.

– Скучал по твоему дыханию.

– Скучала по тебе.

Голос хриплый, не разобрать чей. Губы сухие и соленые, языки горячие. Двери лифта разъезжаются, когда Анна уже с трудом держится на ногах, – все, что было прочным, стало зыбким, словно она окунулась в закатную воду. Или сама стала закатной водой. Руки Андрея – единственная опора.

Анна держится за них, пока прикладывает карточку к замку. Они вваливаются внутрь, захлопывают дверь. Свет фонаря пробивается через сосны. Кровь шумит в ушах Анны, разливается по телу раскаленными волнами, и все, из чего оно состоит, становится оголенным чувствованием. Андрей что-то говорит, Анна не слышит. Она выскальзывает из платья и застывает в луже света – голая, дрожащая, изнывающая от желания. И захлебывается горькой водой, когда Андрей подхватывает ее и осторожно кладет на скользкое покрывало.

Эта вода колышется в Анне, пока Андрей горячей и сухой ладонью гладит ее бедра, пока он проводит раскаленным языком по нежной коже ее живота, пока он входит в нее. Анна словно разделяется на две. Ту, чье истосковавшееся тело возбуждено до боли и ловит каждое движение, упивается им и задает ритм новому. И ту, что от мельчайшего прикосновения все глубже погружается в темную воду. Анна кончает с мучительным стоном, и вода идет в ней штормовыми гребнями. Андрей кончает следом, опадает на постель. Внутри Анны штормит и пенится. За окном скрипят цикады. Кто-то идет по коридору и неразборчиво разговаривает. Анна чувствует, как Андрей нависает над ней и целовывает слезы с ее щек, и от этого она плачет еще сильнее. Если бы Андрей спросил ее, почему она плачет, она бы рассказала про штормовую воду, что нашла выход, но Андрей шепчет: *«Мальш, ты такая красивая, какая же ты красивая»*. Анна отворачивается и вытирает слезы о покрывало.

Они немного спят в этой липкой темноте, потом просыпаются одновременно, но лежат беззвучно. Anne успело при-
сниться, что закатное томное море оборачивается холодным
штормом, стоит ей приблизиться. И окатывает ее злым до-
ждем. И скалится в лицо пенными гребнями. Цикады скри-
пят все громче, Андрей встает, чтобы закрыть балкон.

– Давай посидим там, – просит Анна.

Она оборачивается в простыню, предлагает Андрею свой
халат. Зажигает свечу и ставит на кованный столик. Андрей
наливает ей еще вина, Анна знает, что пить не надо – от ду-
хоты и выпитого днем ее чуть мутит, но она пьет. Море шу-
мит в отдалении, его почти не слышно, но Анна чувствует,
как нарастает шторм. Ей страшно и горько, ей холодно до
озноба, но кожа раскалена, будто бы у Анны жар. Она гово-
рит и не слышит своего голоса. Андрей отвечает, но она не
понимает ни слова. Пьет вино большими глотками, на вкус
оно – соленая вода. Анна хочет отставить бокал, уйти в ван-
ную и вымыть из себя эту соль, но она сидит, мнет пальцем
размякший инжир, цедит злые слова в ответ на злые слова,
но не слышит ни те, ни другие. Кажется, Андрей кричит ей:
«Ты так и не развелась с тем-другим». Кажется, она отве-
чает: *«Ты так и не разошелся с той-другой, сделай это пер-
вым»*. Кажется, Андрей поднимается со стула, запахивается
в халат и говорит: *«Нет, это ты должна сделать первой»*.
Кажется, Анна понимает, что никто ничего не сделает, и тем-
ная вода вырывается из нее потоком. Кажется, они ходят по

кругу всю ночь. И всю ночь Анна плачет. Кажется, так проходит еще один день. Или два. Анна не помнит, она захлебывается соленой водой, задыхается от смрада протухших водорослей, кашляет до сорванного горла, но продолжает барахтаться, только чтобы вдохнуть еще раз тот же воздух, что выдыхает Андрей перед тем, как выйти из ее номера и хлопнуть за собой дверь.

5. Инстинктивная реакция утопающего длится от 20 до 60 секунд, после чего наступает утопление. Со стороны может казаться, что утопающий контролирует ситуацию, но это не так. Если поведение человека в воде кажется вам странным, то уточните, не тонет ли он. Если вы не получите ответа, то у вас будет примерно 30 секунд, чтобы оказать утопающему помощь.

Анна находит себя у моря. Шторм закончился, но вода продолжает с шумом накатывать, поднимаясь все выше по ногам Анны. Платье промокло, и красные маки расплзлись по нему, похожие на окровавленных медуз. Безумная тетка в рваном пиджаке увидела Анну на перекрестке и крикнула ей в лицо: «*Красные маки – красная кровь!*» Анна обогнула тетку по дуге и чуть не впечаталась в обгоревшее тело мужика: тот допивал пиво, высоко задрал бутылку, и даже не заметил Анну.

Она сама себя не замечала, пока не зашла в море по колено, а теперь не могла вспомнить, сколько дней просидела в

номере, пока снаружи лило и штормило. В телефоне толпились непрочитанные в папке входящих: *ничего от Андрея* – и неотвеченные в папке исходящих: *все только ему*. Анна требовала и стенала, умоляла и выпрашивала последнюю встречу, проклинала и умасливала, обещала и угрожала. Выходила на скользкий балкон и рассматривала плитку, что лежала под соснами пятью этажами ниже. Дождь хлестал по плечам Анны, путался в невымытых волосах, смывал с халата запах мужского тела. Анна возвращалась под крышу, обнимала себя и нюхала ткань, пытаясь запомнить, чем пах Андрей в ту их последнюю ночь. Пот, кожа, слюна, парфюм. Вино, слова, обвинения, щелчок отпертого замка и хлопок двери.

Анна опускала голову на подушку и закрывала глаза. Под веками ее ждал шторм. Он поднимал вверх песок и гальку, укрывал ими Анну, предлагая навсегда остаться лежащей на дне. Анна поднималась рывком, обходила номер по кругу, смотрела на себя в зеркало: глаза ввалились, по щекам красные пятна, губа прокушена. Возвращалась в кровать и пыталась заснуть. От штормовой качки ее тошнило. От нескончаемой дроби дождя по решетке балкона хотелось кричать, и Анна кричала. Иногда в ответ ей стучали по батарее. Анна замолкала в надежде, что это стук в дверь. Но каждый раз обманывалась. И этому не было конца. Анна почти смирилась, что только так теперь будет. Шторм, крик, плитка под соснами. Только запах выветрится из ткани халата, и тогда она останется совсем одна.

Шторм закончился без предупреждений. Просто дождь перестал барабанить, тяжелое небо прорезали лучи солнца, а бурлящая морская серота в минуту обернулась волнующей синью. Анна надела платье и пошла к воде.

«Он смотрит в нее как в воду и входит в нее как в воду, – шепчет Анна, позволяя воде подняться ей до бедер и выше. – Он смотрит в нее как в воду и входит в нее как в воду. Он смотрит в нее как в воду и входит в нее как в воду. Он смотрит в нее как в воду и входит в нее как в воду». Кажется, это так просто – войти в воду, когда на тебе черное платье в красных маках. И раствориться в этой воде. Лечь на дно. Стать шепотом. Дышать водой, стать водой. Солью, горечью, волнением. Не собой. Кажется, это так просто – назвать что-то водой и войти в эту воду. *«Он смотрит в нее как в воду и входит в нее как в воду, она вдыхает его как воздух, и он обращается в воздух».* Анну останавливает чужая сильная рука, когда вода доходит ей до пояса. На мгновение Анне кажется, что это Андрей услышал ее шепот и пришел, чтобы обратиться в воздух, она оборачивается и видит перед собой спасателя. Он юный, с веснушками, рассыпанными по загорелому лицу. Анна почти не слышит, но понимает, что тот говорит: *«Возвращайтесь на берег, еще шторм, еще опасно».* И позволяет ему вывести себя из воды по скользкой гальке обратно. Их шатает и отбрасывает, но парень крепко держит ее за локоть в воде и дальше, пока она надевает босоножки на скользкие ступни. Спрашивает ее строго: *«Вам нужна по-*

мощь?» Анна смотрит ему в глаза и примеряет вопрос, как платье, чей фасон идет далеко не всем. Мягко освобождается и идет к веранде кафе, из которого так сладко смотреть на закат. Заказывает воду с лимоном. Достает телефон. Пролистывает сотню непрочитанных вопросов от Лизы и набирает: *«Я тоню, помоги»*.

Люба Макаревская

Январь

*Черный сапог тебе не натянуть,
В котором жила, как нога,
Тридцать лет, и бледна, и худа...*
Сильвия Плат «Папочка»

Ты

В годовщину смерти моего отца, когда я брила твою голову, я рассказала тебе, как я любила его щетину и запах табака, исходивший от нее.

Ты засмеялся и ответил:

– Боюсь предположить, какие у тебя были отношения с отцом.

Я тоже засмеялась и сказала тебе:

– Нет, это совсем не про комплекс Электры, это про чувство безопасности и тепла, которое у меня было только с ним.

Я замолчала и подумала про это чувство, которое я всегда хотела воскресить, повторить с другими, особенно с тобой.

Через три дня, когда морозный, ледяной ветер продувал мою спину и лопатки именно там, где ты совсем недавно гладил меня и прижимал рукой к матрасу, останавливая мою судорогу сквозь свой жар как что-то страшное и неотвратимое, повторяя мне: «Тише, тише», – я слышала в ушах твое: «Тихо, тихо, тише».

И именно в эту секунду, одновременно одержимая воспоминанием о близости с тобой и распятая морозом, я поняла, что в этом детском чувстве безопасности было еще и очень много того, что я и мой отец словно были созданы из одного теста, что я невыносимо похожа на него и что с други-

ми людьми этого чувства нет, оно не может возникнуть, оно невозможно.

И потому я живу сквозь его смерть.

И когда мне было девятнадцать лет, именно потому я заплакала, стала как в припадке, когда впервые читала стихотворение Сильвии Плат «Папочка», я тогда еще не в полной мере понимала, какое отношение этот текст имеет лично ко мне, и мне казалось тогда, что я плачу от этого текста, потому что в том числе он изобличает ужас фашизма. Намного позже я поняла, что этот стих так выкосил и перевернул меня, оттого что Плат не может простить своего отца и то, что, умерев, он оставил ее одну, и потому она навсегда, несмотря на все свое внутреннее сопротивление, голая нога, обутая в память о нем, в потребность в нем.

И я тоже. И мне все еще стыдно говорить и писать об этом, потому что это предельная уязвимость, невероятно очевидная – то, что я не могу пережить, что мой отец оставил меня.

От каждого мужчины я жду, что он заменит мне его, и тоже окажется сделанным со мной из одного материала, и между нами будет такое же чудовищное сходство, и больше всего я жду этого от тебя.

Смерть

Несколько секунд ты вжимаешь меня в матрас, догадавшись взять власть надо мной, сделать меня безоружной и тем самым вернуть меня в детство, вернуть мне себя саму.

В эти секунды я верю в то, что люблю тебя. А не только собственную беспомощность, доступ к который ты мне даешь.

И за это, к собственному ужасу, я могу простить тебе все. За это короткое возвращение или столкновение с собой.

И когда после ты уходишь курить, а я все еще лежу в твоей постели, поджимая ноги к груди, чтобы унять судорогу, и потом, когда я иду холодными зимними переулками от твоего дома к автобусной остановке, я обезличена, одна на морозной улице в сердцевине зимы, со мной нет ничего, кроме моей телесной памяти, в эти минуты, когда я слизываю языком снег с губ, мне кажется, что у меня нет даже имени. Его просто не может быть. Не должно быть. И через эту обезличенность, ликвидированность я всегда хочу приблизиться к смерти, к несуществованию. Потому что в этом небытии я надеюсь вернуться к своему отцу в тот зимний вечер, когда он читал мне «Буратино», а я полудремала рядом, и во всем зимнем заснеженном мире были только я и он. И его безграничная любовь ко мне. И мое равенство с ним, основанное на сходстве.

Ты

Ты спросил меня, почему я не пью таблетки.

Я не пью таблетки, потому что не хочу останавливать свое сознание, буйное, как море или метель, я устала бояться себя саму и больше не хочу притуплять себя, как всегда хотела в юности.

Возможно, смерть похожа на этот момент, когда ты прижимаешься к моей спине и я чувствую твой пот, как он становится моим, и твое дыхание в своих ушах. Но я знаю, что нет; я знаю, что смерть отвратительна, и я ни разу не была на могиле своего отца. Прошло тридцать лет (отец умер, когда мне было шесть лет), и я все еще не могу этого сделать. Если я сделаю это, я признаю, что он умер, а не уехал в бесконечное далекое путешествие. И я все еще не могу этого сделать. Умер, а не оставил меня одну, не оставил меня, а умер. Я плохо переношу боль и потому не делаю этого, но я постоянно хочу отодвинуть шторку и увидеть небытие – его тонкий экран, коснуться его.

Неважно через что – через секс или саморазрушение – я добиваюсь этого приближения.

У меня в животе живет вечно голодная фея – чуть выше матки. Когда я встречаю достаточно негативного человека, она просыпается и порхает внутри меня.

У нее прозрачные золотые крылья, и она тоже приближает

меня к небытию.

Когда я говорю: «Мне хочется, чтобы ты меня выебал, я жду этой встречи с ней, встречи, которая избавит меня от меня самой».

Почему я всегда выбираю людей, которые заведомо не любят меня?

Когда кто-то причиняет мне боль, когда я кому-то не нравлюсь, я снова становлюсь той шестилетней девочкой у январского окна, которая осталась одна в мире, или попадаю в первый день в школе, а значит, встречаюсь со своей сущностью.

Я была там одна очень долго, в том пространстве январской комнаты. Где я смотрела в окно в шесть лет. Где-то вдалеке, в глубине квартиры, со мной была бабушка. Я стояла у окна и выла – из меня вынули меня. Мой отец умер. Мама уехала на его похороны. Тогда я этого не знала, мне сказали, что папа тоже просто уехал, но я чувствовала, что случилось что-то непоправимое, обрезающее всю мою прежнюю жизнь, точно на меня двигалось металлическое колесо.

Я тогда еще не знала слова «сиротство», но именно оно расплзлось во мне черной дырой.

Я потеряла единственного человека, на которого я была так похожа, моя психика скроена и устроена так же, как его, и без него я осталась одна.

Позже вся моя жизнь будет проходить в поисках замены. Замена – довольно унижительное слово, в нем словно очер-

чиваются пределы инвалидности и невозможности эту инвалидность преодолеть, границы острой нехватки, но никогда не возможности выхода из нее.

Я тогда страшно заболела, до сих пор помню густой малиновый фон перед глазами от температуры и невозможность пить даже воду, и как меня рвало от всего, включая мандарины и клюкву. Я помню, как слышала голоса взрослых, но не видела их лиц.

Спустя несколько лет мама мне сказала:

– Твой отец хотел забрать тебя с собой.

Так маме тогда казалось. Я думаю, он не решился. Что же, мне жаль, что он этого не сделал и я осталась в мире одна насовсем – до собственной смерти.

В какой-то момент я запретила себе любить его и скучать по нему, чтобы выжить. И это стало моей стратегией выживания. И я снова разрешила себе эти чувства, только уже будучи взрослой, будучи тридцатилетней женщиной. Но дыра внутри меня все равно никуда не ушла, по-прежнему никуда не уходит.

Вереница его женщин и детей от разных браков, тяжелые отношения между всеми нами, мой постоянный страх принять собственную замкнутость и нелюбовь ко всем другим после его смерти, выросшую во мне в черную меланхолию, в бесконечные поля тревоги.

Больше нет ни одного человека, на которого я была бы так же похожа, и мир состоит из чужаков для меня, из неосо-

знанного и осознанного поиска сходства, из надежды через это сходство стать целой, избавиться от увечья, от которого невозможно избавиться.

Ты

Я выбрала тебя, потому что ты куришь по две пачки сигарет в день, как курил мой отец, и ты пахнешь, как мое детство. У тебя есть щетина, она колючая, такая же колючая, как была у моего отца. И ты, очевидно, меня не любишь. Я пишу это, чтобы запомнить: ты меня не любишь.

И ты тоже даришь мне целый мир, а потом бросаешь меня в нем одну, до бесконечности проигрывая мой детский кошмар, снова и снова после цветной карусели и тепла совместного сна возвращая меня к январскому окну.

А что же я сама? Я сразу же, в первую минуту короткого узнавания, подумала, что ты сможешь вернуть меня в детство или приблизить, подтолкнуть меня к смерти. Может, удастся совместить оба эти процесса. Так и вышло, и конечно, на первом свидании ты говорил со мной о самоубийстве далекого знакомого, но почему же я тогда почувствовала, что рано или поздно это коснется и меня тоже?

Ты умеешь говорить со мной и трогать меня, прикасаться ко мне. Я не жду от людей многого, но трогать и говорить для меня – это уже много. Уже почти все.

Так началась эта плохая во всех отношениях история.

Когда я вынырываю из теплой вязкой темноты, из собственной обнаженности и уязвимости, я всегда удивляюсь,

что потом ты можешь так легко двигаться, вставать и уходить в другую комнату, потому что я никогда не могу пошевелиться. И еще несколько минут я лежу, накрытая этими чувствами, словно волнами.

Мир за пределами этих ощущений, за пределами секса все еще кажется мне невыносимо блеклым. Словно я подросток и никак не могу заинтересоваться чем-то еще. Может быть, только болью: в ней тоже есть предел, и через нее я тоже могу нащупать себя саму и понять, что я есть после всего – и приблизиться к смерти. Возможно, я социопатка? Хотя, скорее, наркоманка, впрочем, эти два понятия часто встречаются и вступают во взаимосвязь.

Видеть себя в зеркале – больно, быть живой – больно. Получается, что секс – граница между болью и реальностью. Между мной и не мной. То небольшое, что дает мне принять себя, но потом все начинается заново.

Почему я не могу перестать бояться отвержения, как я давно перестала бояться смерти? Почему я почти не могу вынести любое неприятие? Точно любовь, желательно всеобщая, нужна мне, просто чтобы ходить и дышать.

Значит, я выбираю тех, кто меня не любит, просто чтобы встретиться со своим главным страхом, с его пределом.

Смерть

С тобой мы всегда проводим вместе два-три часа, как будто у тебя внутри установлен часовой механизм – циферблат. Редко это бывает целая ночь.

И потом наступают дни и недели ломки и неизвестности, когда я возвращаюсь в свою детскую травму, в свой детский паралич.

Вначале мне сказали, что мой отец просто уехал, а не умер: все до ужаса боялись сказать мне правду, и первые месяцы после его смерти, несмотря на точное физическое знание внутри себя, я жила, окутанная параличом ложной надежды, я терзала маму и бабушку вопросами, чтобы услышать ложное «конечно, приедет» и сделать вид, что верю им. Позже я поняла, что меня обманывают, но спрашивала все равно, чтобы мучить их и себя этой ложью. Я спрашивала до восьми лет.

Теперь эта ситуация невыносимого, неразрешимого ожидания повторяется снова и снова во всех моих романтических отношениях.

Я могла думать об этом посреди января, абсолютно уничтоженная твоим отношением ко мне.

Я переставала думать об этом, когда ложилась в кровать, измученная слежкой за тобой в соцсетях, конечно, с пустого аккаунта, который я завела специально для этого.

Чего бы я хотела? Безусловно, я больше не любила тебя, но оставалась разрушительная невротическая потребность знать, где ты и с кем, чтобы понять, почему же ты не любишь меня.

В наше время мы можем наблюдать измену в прямом эфире, и эта ловушка присутствия сводит с ума: в чужом видео я вижу, как ты смеешься и флиртуешь с другой за праздничным постновогодним столом. Я вижу эту молодую женщину во всех деталях: ее кожу, волосы, зубы, одежду – весь ее образ. Всю оставшуюся ночь я могу представлять себе ваш диалог и возможный секс.

Хотя все чаще я плакала уже не оттого, что ты не любил меня, а оттого, что я переставала любить тебя. Точно из меня вытягивали металлический стержень и без него вся моя психическая конструкция распадалась, все возвращалось в ноль, в детское одиночество, уже не припудренное, не забинтованное иллюзиями, и я цеплялась за остатки этого чувства изо всех сил с нездоровым отчаянием, словно без него я бы утонула. Я постоянно с упорством обреченной отрезаю от себя части, а они алые и кровоточат, и я никак не решаюсь обрезать только ту часть себя самой, что принадлежит тебе.

Когда мы прощаемся с иллюзией любви, мы прощаемся с последней ниточкой, которая связывает нас с детством. С верой в возможность отсутствия боли. И верой в то, что мир, в котором в некоторых странах все еще казнят за убеждения, может не быть таким враждебным и холодным. Я выхожу на

детскую площадку, чтобы вдохнуть морозный воздух, снежинки ложатся медленно – одна к другой, одна за другой. Я чувствую, как отходят снотворные, и вдруг неожиданно для себя начинаю повторять: «Папа, папа, папа».

На секунду я ощущаю, что мое одиночество больше меня самой, больше всего мира.

И вспоминаю весну на картине своего отца «Жаворонки», на ней весна была взбесившейся, и небо было розовое и голубое, и отдельно облака – белые, как ватные игрушки, и, конечно, сами жаворонки. Такая абсолютная весна может быть с человеком только в детстве. И мне хочется вернуться туда, в свое детство, уже полустертое в моем сознании, но я возвращаюсь к экрану телефона, чтобы следить за твоей жизнью (в моем случае это нечто вроде обсессивно-компульсивного расстройства) и за жизнью женщин, к которым я тебя ревную, точно я хочу стереть себя саму с помощью всех этих посторонних людей и их жизней, заглушить невыносимую тревогу, которая преследует меня со смерти отца. Тревогу и страх перед жизнью.

Вспыхивает экран телефона, и возникает лазурь моря, чужие пьяные голоса, иногда твой голос среди них. Я знаю, как ты кончаешь, как ты кричишь, как обгорела твоя спина, когда тебе было девять лет. И не знаю ничего о том, что связывает тебя с некоторыми другими молодыми женщинами.

Я сравниваю и сравниваю себя с ними до исчезновения собственной оболочки. Один психолог сказал мне, что этим

я заменяю прямую физическую аутоагрессию. Возможно. Первый год мне правда было очень больно, все равно что сверлить зуб без наркоза. А теперь это дурной сериал, почти скучный. Я все еще боюсь себя и потому вглядываюсь в других. Прежде чем подойти к зеркалу и увидеть свою бледную кожу, первые морщинки – как у вечного ребенка могут появиться морщинки?

Ты

Мне все еще нравится, что ты последний, с кем я курила в течение нескольких недель, но все же я могу пройти мимо той кондитерской лавки, где я покупала пирожные, когда только влюбилась в тебя, и чувствовать пустоту; зайти в магазин, где я купила когда-то твои любимые чулки – и везде пустота; когда заканчивается анестезия сильных чувств, остается только пустота, и понимаешь, что эти чувства были костылем, способом переносить реальность. Что хуже – боль или пустота? Теперь я задаю себе этот вопрос каждый день, каждый час, когда я отстраняюсь достаточно, мне удастся их сравнить.

«Ты меня еще хочешь?» – так моего друга спросила его девушка в начале их романа. А я спросила тебя: «Почему ты больше не пристаешь ко мне? Ты отвык от меня, я разонравилась тебе?»

И ты развернул меня к себе, взял за волосы, просунул пальцы в мой рот.

Как секс становится документальным письмом? Сквозь физическую смерть и смерть самого чувства. Сквозь смерть того, что в полутьме, во сне мы решаемся назвать любовью.

Иногда мне кажется, что письмо это похоже на состояние актрисы Караваевой, отгороженной от мира аварией и шрамом, обезобразившим ее лицо, но все равно повторяющей в

абсолютной пустоте: «Я Чайка. Я Чайка».

И именно в этом его высший смысл. Что есть мое тело в отрыве от участия другого, от его взгляда на меня?

Смерть

Каждый раз, когда ты спрашиваешь меня, как именно я бы хотела, что-то во мне начинает плакать, что-то, что остается бесконечно детским даже сквозь мою собственную похоть. Посреди улицы, раздетой холодом, я снова и снова вспоминаю это ощущение, когда я прижималась животом к матрасу, а ты гладил мою спину, и я исчезала, становилась маленькой. Оставалась только твоя власть надо мной и моя потребность принадлежать. Всегда в мороз ко мне возвращается память об этом и воспоминание о том, как ты стонешь, когда кончаешь, и каким становится твое дыхание.

В середине января ты пишешь мне, что болеешь, и спрашиваешь меня, буду ли я ухаживать за тобой. Я пишу, что да, и через сорок минут приезжаю к тебе, склоняюсь над тобой, глажу твой лоб и говорю тебе, что всегда хотела ухаживать за больным. Ты отвечаешь:

– Начинай.

И притягиваешь меня к себе, и я обнимаю тебя в ответ, и мгновение мне так тепло, как в детстве, а затем ты вцепляешься в мои волосы, и начинается вечная схватка между нами. Ты шепчешь мне на ухо глухим голосом:

– Я выходил только за сигаретами.

Прежде чем попросить меня раздеться.

Я чувствую твои пальцы на своих слизистых, чувствую,

как я вся вспыхиваю и горю, точно отдельно от себя самой, и мой собственный крик кажется мне безвольным, неумелым и чужим.

И потом, когда я сплю рядом с тобой в глубине январской ночи, за окном воет ледяной ветер, как сотня сирен скорой помощи, и из пустыни приходят львы и огромная синеглазая женщина, выюга всю ночь заглядывает в наши окна. И ты всю ночь прижимаешь меня к себе, с иступленной нежностью гладишь мою шею возле ушных раковин, все мое тело, берешь меня за руку.

А я просто думаю сквозь сон, что нелюбовь – это и есть смерть, и, когда посреди завывания зимнего ветра я вжимаюсь губами в ложбинку твоей шеи, я прячусь от того, что кажется мне смертельным.

Ветер завывает все громче, и мое подсознание знает, что как раз ты не любишь меня.

Проснувшись, я говорю тебе, что мне снилась выюга, женщина-великанша с синими глазами.

Ты смеешься, и две-три минуты между нами почти элегия перед новым сражением.

Но уже бесповоротным утром ты становишься прежним, и тогда сквозь полусон я думаю, была ли в той нежности, что связывала нас во сне, глухой и темной, густой и предельной, была ли в ней хоть капля человечности?

Я никогда даже не могу сказать тебе, что я голодна или что я устала. Разгорается день, и вместе с ним бесконечные

придирки, точно за пределами секса и того, что он дает мне и тебе, нам больно смотреть друг на друга. Я замыкаюсь и молчу, как аутист, в ответ на твой непрекращающийся сарказм.

И я чувствую, как внутри меня образуется вакуум, как белая, точно вата или марля, пустота берет меня за горло и заполняет всю меня. И я перестаю чувствовать что-либо. Пустота выходит за пределы моего тела, она становится больше меня, как когда-то, три года назад, мои чувства к тебе были больше меня самой. Я была только пятнышком, наброском на их фоне. И вот теперь, когда эти чувства превратили меня в то, что я есть, я не ощущаю ничего, кроме пустоты, пока ты с упоением иронизируешь над моей идеей поехать в писательскую резиденцию, над всеми моими утренними привычками, над всем, что есть я.

И не сразу сквозь пустоту проступает обида, я ощущаю ее болью в позвоночнике, когда слышу: «Ты побреешь мне башку сегодня?»

При этом все мое тело закрывается от тебя, я чувствую внутри себя холодный замок, снежный ком, немоту, ставшую безбрежной, чувствую, как она становится бесконечной и неотменяемой, как весь мой голос уходит в эту темную воронку молчания, нежелания говорить с тобой.

И я киваю оттого, что у меня нет сил спорить. Внутри я презираю себя за свою бесхарактерность.

Я брею твою голову, как всегда, посреди холодной пустой

ванной комнаты и вспоминаю, что часто жертвы насилия говорят, что самым ужасным в насилии для них было не само насилие, а то, что это происходило совершенно помимо них, то, что в этом их самих совсем не было.

Очень давно, в прошлой жизни, когда я переживала эпизод насилия, именно это сводило меня с ума. Правда еще и в том, что ты никогда не можешь стереть опыт насилия, он возвращается к тебе флешбэками до дурной бесконечности, точно летнее небо внезапно разрезают пополам, и из него вываливается гнилая вода и следом тело утопленника.

Чем же отличается психологическое насилие от прямого физического? Тем, что ты можешь любить и жалеть того, кто его причиняет, именно этим в моем случае.

Я смотрю на тебя, и мне жаль тебя. Я провожу рукой по твоей спине, которую я так любила, которую я вылизывала языком сотню раз. И я знаю: что-то сломалось во мне безвозвратно, даже без моего разрешения на это, и теперь впервые за три с половиной года мне больше жаль себя саму, чем тебя.

После я выхожу из твоей квартиры, и, пока лифт везет меня вниз с пятого этажа, в зеркале я наблюдаю, как пустота поглощает мое лицо и стирает его.

Ты

Три года назад, во второй день февраля, в этом холодном лифте я льнула к твоим губам. Куда это ушло, почему теперь, будучи рядом с тобой, я вижу рядом только чужого человека, прижимающего меня к себе в исступлении сонной нежности к себе? И почему я чувствую такое сожаление, когда думаю об этом? И почему это сожаление хуже любой боли и любого горя для меня? Теперь, когда я курю на твоей ледяной кухне сигарету за сигаретой (ты все еще куришь самые крепкие) и следом пью черный кофе на пустой желудок, ведь у тебя никогда нет еды, и смотрю на тебя вопросительно, – не жду ли я, что ты вдруг снимешь маску и подаришь мне хоть каплю тепла, в котором я так нуждаюсь? Но ты никогда не надевал маску, ты всегда был холодным. Чего же я жду от тебя? Что со мной не так?

Как-то очень давно, летом, во время полуночной прогулки, мы с другом, который теперь уехал, встретили бездомную собаку, она бежала за нами, а мы от нее, никто из нас не мог ее взять. А потом в одном из летних дворов она уснула у наших ног, после того как он долго гладил ее. И мы на цыпочках ушли от нее.

И позже час спустя он сказал мне:

– Вот так она расслабилась и поверила, что все хорошо, так всегда бывает: когда веришь кому-то, он бросает тебя.

Смерть

Я помню, как подростком я краем глаза смотрела какой-то русский криминальный сериал. В нем молодая женщина какого-то авторитета купила себе роскошную черную шубу, она мерила ее перед зеркалом во весь рост и смеялась, потом к ней пришел ее любовник и сказал, что она должна умереть. Он хотел «убрать» ее, потому что она была свидетельницей какого-то жуткого преступления. И она начала рыдать и говорить:

– Нет, нет, я не хочу.

И он стал отвечать ей:

– Ну ты же понимаешь, что надо.

Потом эта сцена часто снилась мне в кошмарах без всяких на то причин, и вот теперь мне кажется, что мои отношения с тобой – это тоже некая зона смерти. Смерти без начала и конца.

Теперь я понимаю, что в этом фрагменте сериала меня пугала навязанная необходимость физического исчезновения и какая-то необъяснимая чернота, ее неотвратимость.

Возможно, в смерти нас пугает не собственное исчезновение, а ее неизбежность. И когда мы думаем об умирании чувства, благодаря которому долгое время выживали, которое было для нас коконом, бронежилетом, спасением от мира, то, когда мы прощаемся с объектом любви, мы проща-

емя прежде всего с самими собой. Как будто только любовь к тебе защищала меня от столкновения с внешним миром, всегда невероятно болезненным для меня. В интернете я случайно наткнулась на фото Полански и Шэрон Тейт, довольно редкое. На снимке их лица совсем рядом, и можно увидеть пересечение взглядов, фото черно-белое. Что-то в этом снимке завораживает меня, возможно, очевидная психологическая связь между ними, которую фотография всегда фиксирует, особенно четко превращая любые чувства в документ или знание о трагедии, которая случится потом. И я думаю, что жестокое и кровавое нечто, разъединившее их, напоминает мне о том, что я чувствую к тебе в конце.

Если поверить в теорию, что отношения – это танец, то каждый из нас доставал ножи во время этого танца много-много раз. И тогда совсем неожиданно я вспоминаю Диккенса и думаю о героях «Больших надежд»: как он и она ушли от мрачных развалин прошлого навсегда, и просторы, залитые луной, больше не были для них омрачены тенью новой разлуки.

Ничего общего с тем выжженным полем, что лежит между нами. Героиня в фильме «Часы» говорит: «Между нами всегда часы, долгие часы».

Я бы сказала – нервные клетки, настолько измученные, что они мне видятся кровью. Потому я бы сказала, что между нами одна сплошная кровь. Она символичная, но ей нет конца. Она заражена.

За ужином я смотрю на своих друзей, как они мучают друг друга с обреченностью еще недавно любивших друг друга людей.

Он спрашивает ее с горькой нежностью: «Ревнуешь?»

Я смотрю на них и вспоминаю свое тепло с тобой, всегда такое короткое, и мне хочется ощутить его снова, я чувствую это желание как необходимость, и неважно, что это тепло уже убывающее.

Я чувствую свое одиночество как нечто фатальное и непреодолимое, если я больше не люблю даже тебя, оно расползается во мне синей чернотой, словно сосуды вокруг места сильного удара. Возможно, я обречена любить только своего отца и скучать только по нему, или это чувство уже тоже только фантом? Точно моя психика заперта в вакууме. Что я вижу в зеркале – молодую женщину с поверженным взглядом, бесконечно чужую самой себе. И если ты не можешь протянуть руку и спасти меня, то что же мне делать с этой новой пустотой, с ее вакуумом, вдруг я больше не расскажу тебе ни один свой сон?

Меня разрушали, я разрушала – ничего нового. Почему же мне так больно, когда я думаю, что этот этап взаимного разрушения, равный идиллии для личности моего склада, закончился с тобой? Если бы я могла эту вымирающую часть себя самой выходить, как вороненка со сломанным крылом, мне было бы легче. Я бы отдала за эту возможность почти все.

Позже я смотрю на свое фото трехлетней давности и вижу твою тень в своих глазах, ты уже сделал со мной все, что сделал, и через эту тень я теперь и определяю себя, как когда-то прежде определяла себя через тень своего отца.

Ты

Когда я последний раз возвращалась от тебя в вагоне метро, женщина, сидящая рядом со мной, долго разглядывала мой профиль, все мое лицо, и мне казалось, она видит на нем все следы и события прошедшей ночи. И чувствовала себя одновременно голой и носящей траур. Потому что я была в черном пуховике и потому что я решила расстаться с тобой. И тогда я снова вспомнила своего отца, как он читал мне «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»:

В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста.

И мир тогда превращался в сказочный лес для меня. Мне было неприятно, что эта женщина, сидящая рядом, смотрит на мое лицо, в этом было что-то порнографическое для меня и страшное, словно она смотрела на мою казнь или на меня в гробу, точно я действительно была голой посреди вагона метро. И мне было жутко оттого, что она может видеть следы боли и любви на моем лице, или, хуже того, она может созерцать мой траур. Отбирать мою боль. Присваивать ее себе,

разглядывать, как бабочку на булавке.

Потом я шла по зимней улице, и все нити между нами рвались, и я видела перед своими глазами рельсы, пустую железную дорогу, холодный металл. Дорога уходила за горизонт, и ей не было конца, и поезда тоже не было ни в одну сторону. Только пустота.

Ты

Я собираю цветы голыми руками, они невозможно алые, или ложусь на латексное одеяло после оргии или просто на чужое одеяло. На одеяло не в твоём доме, не в твоей комнате, не на твоей постели, и я сворачиваюсь калачиком, я пытаюсь обнулить свой опыт, чтобы не чувствовать боли. Но разве тебе не жаль? Мое маленькое стойкое тело, сердце почти оловянное. Темнота больше не связывает нас, а разъединяет. Как ты вспомнишь мою грудь, плечи, соски, клитор, мой взгляд, мои глаза? Прежде чем навсегда обратить их в пепел в глубине своей памяти.

Другой сказал мне вчера: «Держи», протягивая «Дом Аниты» Лурье.

Он долго смотрел в мои глаза, и я вспомнила холодный подъезд и наш первый поцелуй в лифте после разлуки. Неуклюжий и несмелый.

И как ты спросил меня:

– Ты больше не боишься?

И я ответила:

– Возьми меня, пожалуйста.

Сколько боли мы причинили друг другу с той ночи.

Смерть

Пустая ванная комната, холодный белый кафель, французское окно, и мелкий беглый снег за ним, и крыши, крыши, и я брею твою голову. Волосы слетают в раковину. Затылок становится голым и беззащитным, я рассматриваю твои уши, потом смотрю на нас в зеркале, как мы выглядим вместе, и прошу тебя повернуться и посмотреть прямо на меня, чтобы проверить, хорошо ли все получилось, и наши глаза встречаются, и ты смотришь прямо на меня. И я вижу, что тебе страшно смотреть вот так прямо мне в глаза, когда это не освещено сексуальной близостью. А мне нет, как будто я хочу выловить твою суть из глаз, понять что-то из твоего взгляда, что-то, чего я не знаю, не могу почувствовать до самого конца. И потому я чувствую напряжение, сопротивление. Всегда.

Я просыпаюсь, и снова металлические голые рельсы между тобой и мной и той ванной комнатой. И мне больно, когда я о них думаю, зимняя дорога в моем сознании – всегда дорога к тебе.

Если представить себе, что моя любовь к тебе была оберегом от всего, главным из того, что одно человеческое существо может дать другому, то что я без этого берега?

Ты

Собственная память разламывает меня на части, как механизм, снова и снова вспоминаю, как мы занимались любовью в грозу, и я стала солью и влагой, твоей собственностью, и потом не могла двигаться, и ты тоже не мог.

Было утро, а ночью снова были гроза и ливень, и я уже была без тебя и написала тебе сообщение: «Снова гроза, смотри, какой красивый дождь».

А на второй день я читала «Лотову жену» и плакала от любви и нежности к тебе.

Я смотрю короткое видео: на нем ты проезжаешь в поезде, я вижу только свет и углы твоего рта, и ты исчезаешь в непрерывности дороги за семь месяцев до нашего знакомства. Разлука – странная вещь, когда я захожу в переулок, где ты живешь, навсегда для меня твой переулок, все твои прошлые женщины, которых я знала, вспыхивают перед моими глазами и движутся на меня, и потом я вижу себя саму среди них и тоже загораюсь бледным огоньком.

И я вижу поворот улицы, где летом стояли лотки со свежей клубникой, – и я бежала мимо них к тебе, забывая все. Я шла от себя прошлой, бегущей навстречу к тебе, вперед. Я смотрела на ангелов и львов на барельефах домов, и мне хотелось, чтобы они снова стали нежными и страшными для меня, многообещающими, как в самом начале.

Затем мимо меня прошла полиция, как сгусток потусторонней темноты, и я пошла дальше в город, дальше от тебя.

Позже я вдруг вспомнила со всей отчетливостью, когда разглядывала другого и почти влюбилась в него, как я любила, кажется, больше всего на свете, лаская тебя, выпустить твой член изо рта и заглянуть в твои глаза, чтобы увидеть, как они становятся темнотой и бесконечностью, становятся ясностью. Одновременно я была соединена с тобой как никогда раньше и наконец преодолела тебя.

Потом я шла по подземному переходу, и меня трясло от желания и страха, я чувствовала, как мои внутренности растворяются и пальцы сводит судорога, я прижала руку к своему лицу и внезапно кончила. И тогда я снова увидела глаза смерти, пустые и темные, когда я смотрела на мимозу в темноте и холоде этого перехода, потом я увидела старушечьи пальцы, разом хватающие всю пушистую охапку, желтую и беззащитную. И пошла прочь, резко осознав, что плачу.

Смерть

Фасады домов растворяются перед моим заплаканным взглядом, город надвигается на меня тенью, дымом воспоминаний обо мне самой. И метель из сказочной становится похожей на пепел, слякоть уничтожает белизну, и в зеркале общественного туалета я случайно вижу свое лицо. Я смотрю на себя в зеркало, и там и здесь несколько следов бессонной ночи, морщинок, рубцов, которые не делают меня красивее, но делают меня мной. Женщиной, пережившей кораблекрушение.

Пахнет вокзалом, и тогда, касаясь своих век, умывая лицо ледяной хлорированной водой, я думаю, каково это было бы – снова пройти по улицам Москвы начала 2000-х. Это был бы такой легкий путь полудетства и надежд. Я буду идти по городу, золотому, как во сне, я пройду залитую солнцем Тверскую, пустую Красную площадь, и у дверей зоопарка меня будет ждать мой отец, чтобы взять меня за руку или усадить себе на плечи и отправиться со мной смотреть на животных – львов и тигров.

А в своей квартире ждать меня будешь ты, чтобы перевернуть меня на живот и уничтожить. И на Чистых прудах будут, как в 2010-м, гудеть вечные анархисты, я пройду по всем этим маршрутам сотню раз по кругу, пока наконец не стану пылью на Покровском бульваре. Ведь после смерти шаг дол-

жен быть особенно легким.

Ирина Костарева

Бесконечное лето

Станция называлась Храпуново. Я так и видела могучего змея, который свернулся в глубине леса чешуйчатым клубком и дышит трубным храпом, пока над ним целый день щебечут птицы.

Лес тянулся всю дорогу, пока ехала электричка, и я уже не верила, что за этим занавесом что-то есть. Но, сойдя с платформы, я разглядела просвет, а в нем стоянку с бомбилами – все как обещала хозяйка. Втащив чемодан в багажник старых «жигулей», я разместилась на заднем сиденье.

Мы ехали по тенистой дороге, по обе стороны проплывали большие лиственные деревья – вязы или тополя, я все время их путаю. Мощные кроны гнулись над нами в длинную синюю арку, и в этом было что-то торжественное. Я заворожено глядела в отражение на стекле, словно примеряла свое лицо к каждому дереву. Я не была здесь никогда прежде, но чувствовала, будто возвращаюсь домой.

Таксист высадил меня на повороте. Огромное, в полнеба, солнце высвечивало все цвета до прозрачности акварели. Выгрузив чемодан, я спросила номер водителя на случай, если мне понадобится уехать. Он ухмыльнулся: «Отсюда так быстро не уезжают, – и наспех добавил: – Вот увидите, вам не

захочется». Я кивнула. На телефоне маячил пропущенный. Я не сказала маме про свой отъезд, как не сказала никому вообще – личное горе дает привилегию не думать о чувствах других. Стуча колесиками по щербатой дороге, я высматривала маленький зеленый дом с фотографии.

Все получилось само собой. За неделю до этого я видела сон. Я стояла на платформе и ждала поезд. Его долго не было, и тогда я сошла с перрона, пересекла перегретые рельсы и оказалась в ночном лесу. Ночь была неестественной – будто день затемнили на постпродакшене, чтобы не мучить никого дополнительными съемками. Чернели ветвистые стволы деревьев, а под ногами разливался серебряный мох, нездешний и таинственный, как глубоководные водоросли. Оказавшись в лесу, вдыхая аромат земли и травы, вслушиваясь в лепет ветвей, я испытала безвольную радость. Все, что тревожило меня, умолкло и отступило – так отходит от берега загипнотизированное луной море. Вдалеке прогудела электричка, но я не двинулась с места. Я не могла расстаться с лесом, перед которым благоговела, как перед Богом.

Утром я по привычке полезла в «Фейсбук»³ и увидела в ленте снимок дома в окружении деревьев. Я написала владелице, и она согласилась сдать мне его на лето. Я чувствовала, что все делаю правильно.

Дом оказался точно таким, как я представляла: с обшиты-

³ Социальная сеть, принадлежащая Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.

ми тусклой вагонкой стенами и протертыми полами, затасканный, как любимое платье. Я оставила чемодан на пороге и начала обход. В первой комнате стоял застеленный желтой скатертью круглый стол с двумя стульями, слева от него – сбитый серый диван, справа – резная тумба с телевизором и маленькая чугунная печь. Во второй комнате из мебели были только придвинутая к окну большая кровать без изголовья и лакированный комод, украшенный кружевной салфеткой. Третья ограничивалась шкафом с тремя дверцами и служила гардеробной. Неприметная крутая лестница у входа вела на второй этаж, где в удушающей жаре тлели сваленные в угол подшивки старых журналов и выцветал на стене ослепительно-алый ковер. Кухни в доме не было – она занимала маленькое помещение в конце дорожки, пересекавшей участок сбивчивой диагональю. По обе стороны от нее беспорядочно торчали серые яблони. Своими узловатыми стволами они были похожи на вывернутые старостью суставы.

Лес подступал к участку несмелой порослью клена и лиственницы. Я смотрела на эти маленькие деревца и думала, что растения не останавливаются: они все время развиваются и трансформируются, никогда не приходят к окончательной форме. Люди и животные – другое дело. Мы носим свои метаморфозы внутри, как призрачное воспоминание о том, кем были в материнской утробе...

С другой, противоположной лесу стороны возвышалась стена двухметровых рудбекий. Крупные махровые соцветия

этого растения зовут золотыми шарами – вот уж достойная конкуренция вангоговским подсолнухам. Длинные, развалившиеся в разные стороны цветы толпились на границе участка, а далеко за ними, если поднять голову, можно было разглядеть темную крышу дома, увязшего в беспечном разнотравье, очевидно, заброшенного. Есть что-то притягательное в оставленных домах. Они напоминают старые фотографии, которые продают на заграничных развалах в перетянутых резинкой стопках, по три евро за все. Однажды в Афинах, поддавшись какому-то смутному чувству, я тайком вытащила из такой пачки снимок и спрятала его в кармане куртки. То же самое мне захотелось сделать с этим домом. Ты бы меня поняла.

Поднялся ветер, и желтое море качнулось волной, а я почувствовала странную легкость, почти летучесть – даже голова закружилась. Я вернулась в дом, неторопливо разложила вещи и застелила простыни. Сквозь зазоры занавесок в комнату сочился теплый свет. Я села за стол в гостиной и открыла ноутбук. Перед отъездом я сдала последнюю статью, которую делала для большого культурного проекта, и теперь ждала правки от редактора. Браузер был открыт на вкладке с заголовком: «На Земле исказится пространство и время». В статье говорилось о двух черных дырах в созвездии Волопаса, которые то сближаются, то отдаляются. Когда они подходят близко друг к другу, случается вспышка. В последнее время вспышки участились, а значит, черные дыры ускори-

лись. По подсчетам ученых, через тысячу суток они сольются, и это слияние пройдет по галактике гравитационной волной, которая вызовет искажение пространства и времени. В тексте уточнялось: как это выглядит и к каким именно последствиям приведет, никто не знает, потому что раньше ничего подобного не случалось.

Я знала кое-что об обоих видах искажения. Ребенком я мучилась головными болями и нередко – особенно перед сном – переживала странные видения. Части моего тела вдруг становились меньшего или большего размера, чем в действительности. Правая половина головы то резко уменьшалась, то увеличивалась, и, скосив глаза вбок, я видела огромное, возвышающееся на метр полушарие. Нога вырастала так, что я не могла дотянуться до ступни руками, а ладони, наоборот, становились крохотными. Пространство тоже искажалось. Дверь в комнате внезапно отдалялась длинным коридором, а пол становился топким. При этом я хорошо осознавала, что мои ощущения ненастоящие. Приступы спутанного восприятия реальности со временем прошли, и только существенно позже я узнала, что у этого явления очень литературное название – синдром Алисы в Стране чудес. Вроде бы именно «карликовые галлюцинации» подсказали Льюису Кэрроллу идею его сказки. Но если видимое искажение пространства – все-таки редкость, то искажение времени вполне естественно. Его систематизация – с часами, минутами, секундами – всегда казалась мне странным

заговором, придуманным, чтобы облегчить человеку жизнь, но не имеющим ничего общего с действительностью. Время умеет замедляться и ускоряться и делает это чаще, чем можно себе представить. Оно также может останавливаться и поворачиваться вспять. Иначе бы мы никогда не тосковали по будущему, предвкушая его.

Я вбила в Гугл «созвездие Волопаса». Картинка: рожок мороженого со звездой Арктур на кончике. Арктур – первая звезда, которая появляется высоко над горизонтом, когда в самом начале лета заходит солнце. Она находится от нас на расстоянии около тридцати семи световых лет – относительно недалеко – и светит в сто раз ярче Солнца, поэтому ее отчетливо видно. Я никогда не ночевала под открытым небом, но мечтала уснуть, вдыхая душистый запах трав, щурясь на пульсирующие звезды. Что это будет за ночь!

Между тем солнце медленно ползло к горизонту, и свет сделался таким густым, что его можно было слизывать с пальцев как мед. Из короткой переписки с хозяйкой я знала, что неподалеку от дома есть грунтовое озеро, которое образовалось на месте песчаного карьера, и решила, что до темноты как раз успею его разыскать.

Часы, минуты лета особенные – великолепные, прозрачные, ослепительные, разлитые в хрусталь времени как драгоценное вино. И чем дальше от города, тем больше в нем прогретого, слегка мускусного разнотравья, горьких диких ягод, застоявшейся в тихих заводях ряски, насквозь проби-

тых солнцем веток, синиц и лазоревок, которые выглядят в точности как синицы... В городе лето другое – от него не пьянеешь.

Я выросла в поселке посреди леса и торфяных болот и всегда знала, что уеду. Жизнь там была нищей и уродливой, и я притворялась, что не имею с ней ничего общего. Это было неправдой. Я была виноградной лозой, и, как на известняках получают многогранные тонкие вина, а на черноземах – ординарные бедные вина, так и я вызревала, опираясь на данную мне почву – сухой болотный торф, полыхавший надеждой и страхом, яростью и отчаянием. И если было в этом что-то утешительное, так это линияющий летний дождь, зеленые пятна на светлых джинсах, иссиня-ягодные губы, простой желтый цветок в волосах и бархатный загар на плечах. С тех пор многое изменилось, и вот я (шлепки, шорты с распушенным краем, майка, голые лопатки – куда более раздетая, чем обычно) снова брела по улочке двенадцатилетней девчонкой – будто и не было всех этих лет.

Я дошла до края поселка, не зная, куда двинуться дальше. Простудировав карту, не нашла ничего, что могло бы сойти за озеро – сплошной зеленый цвет. У последнего дома, налегая на дверь калитки, равнодушно задрал лицо к солнцу, болтался мальчуган лет одиннадцати.

– Привет, – я сделала козырек из ладони, чтобы разглядеть его, качающегося в солнце как в янтаре, – ты знаешь, где озеро?

Мокрые волосы (рыжие или так их высвечивало солнце) липли к ушам, облезлый нос пестрел веснушками, красная нижняя губа выпирала вперед, и он непроизвольно втягивал ее ртом. Переброшенное через плечо полотенце стелилось по земле.

Он лениво махнул рукой:

– Там.

С жутким скрипом калитка качнулась. Мальчик отпустил прутья и прыгнул на землю:

– Как тебя зовут?

Я назвала имя, а он в ответ свое.

– Где ты живешь? Я здесь все знаю.

Я неопределенно пожала плечами:

– От главной дороги налево. В зеленом доме.

Он задумался на секунду и, припомнив, рассудительно произнес:

– Хороший дом, надежный.

Вид на озеро открывался потрясающий. Раскинувшееся посреди берегов пламенеющего лета, оно было огромным и сияющим, несовершенным по форме, но с затейливой каймой маленьких бухт. Я стояла на песчаном холме и смотрела, как воздух, припудренный темнотой, меняет цвет со жгучего пурпурного на царственный синий. Казалось, что изменчиво только это, а все остальное замерло в вечном молчании. Но вот в шерстистой тишине раздался легкий всплеск, зажурча-

ли сверчки, зашумели травы и листья... Из озерных глубин, как пар из котельной, валил туман.

Два столетия назад там, где сейчас стоит дачный поселок, лежало торфяное болото, которое называлось Маслово. С начала прошлого века на этом месте разрабатывали торф, но в шестидесятые добычу прекратили, а земли отдали под садоводство. Я узнала об этом перед поездкой и вспомнила, когда в поисках чтива перед сном поднялась на второй этаж и в ворохе газет и журналов нашла несколько книг. Одной из них было советское издание лирики русских поэтов «Песни любви». В углу некрасивой голубой обложки нарисовано пылающее сердце-цветок, а за ним белое солнце, которое палит острыми лучами во все стороны. Такая же книга была в доме моих родителей, и в детстве мы с Никой по ней гадали. Мы спрашивали: «Что ждет меня в скором будущем?» – загадывали страницу и строку. Если выпадало что-то вроде «звезда любви над ней горит», весь день проходил в томительном мечтании. Но иногда предсказание оказывалось плохим, и в груди просыпались тупой страх: вдруг и правда «обманы наш удел»? – и обида на книгу, на подругу, на злой рок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.